

Всё началось год назад, когда, можно сказать, от одной безысходности Евдокимов занялся продвижением дочери на эстраду. Всё сошлось к одному: гибель жены Ани и, как вспышка молнии в беспросветной тьме, сочинительский талант Жени. Натерпевшаяся за свою недолгую супружескую жизнь дочь шла напролом, и, казалось, не было силы, которая могла бы её остановить. Евдокимов поначалу даже испугался, попытался отговорить, пока не понял, что не отговаривать, а помогать надо, и с не меньшим, чем у дочери, рвением занялся возобновлением былых связей. Не так уж и много их на поверку оказалось, можно сказать, почти ничего. Так что вся надежда была на талант, который надо было ещё развивать, а время для этого казалось упущенным. У дочери было только музыкальное училище по классу фортепьяно. И это бы ничего, да имелась более существенная причина, препятствовавшая обучению, — четырёхлетняя дочь, а это означало, что лишь заочная форма оставалась единственно приемлемой. И надо было такому случиться, именно в тот год в их консерватории упразднили заочный факультет по классу композиции. Попробовали они было сунуться в законченный Евдокимовым Московский институт культуры (а попросту “кулёк”), но там всё упёрлось в проживание, и тогда,

подумав, он посоветовал Жене поступить в “кулёк” местный и частным порядком брать уроки вокала у хорошего педагога. Постепенно вышли и на приличного аранжировщика — песни буквально тут же расцвели. Теперь не стыдно было показаться с ними на любом конкурсе. И тут подвернулся первый, в одном из ночных клубов. Результаты еженедельно освещались одним из телеканалов. Евдокимов посмотрел пару передач и посоветовал дочери съездить. И хотя конкурс подходил к концу, после прослушивания Женю сразу же ввели в финал и два раза показали по телевизору.

Так впервые после длительного перерыва Евдокимов опять оказался лицом к лицу с эстрадой, а точнее, на гала-концерте.

Это случилось в конце декабря прошлого года. Заваленные непрекращающимися снегопадами улицы стояли в тусклом свете задымлённых морозным туманом фонарей. Убирать сугробы не успевали. Помнится, долго не могли припарковаться. Наконец, пробили колею в глубоком снегу. След в след выбрались на тротуар и направились к клубу.

Без всяких сомнений, Женино выступление было самым лучшим. Да ещё так получилось, что гала-концерт совпал с днём её рождения. Узнав об этом, хозяева заведения организовали презент. В самом конце арт-директор неожиданно объявил в микрофон, что среди участниц гала-концерта находится именинница, и назвал Женю по имени. Послышались аплодисменты, затем потушили свет, и через весь тёмный зал официант пронёс на подносе торт с зажжёнными свечами. Женья задувала их в полной тишине. И, когда погасла последняя, зал вновь оживили аплодисменты. Затем арт-директор объявил:

— А ещё в подарок имениннице будет исполнена песня.

Когда стоявшие во время концерта на подпевке девочки запели, Евдокимов невольно обратил внимание на руки одной из них, но только ночью понял, что именно напомнили они ему. Такое же чувство острой жалости и нежности вызвали в нём сбитые от стирки в корыте руки Ани, когда после рождения дочери они целое лето жили на даче его родителей.

И с этой минуты началось...

\* \* \*

Второй раз — в Санкт-Петербурге. Конкурс оказался весьма солидным. Со всех концов страны слетелись на него молодые дарования, выпестованные в стенах музыкальных училищ. Всех разместили в знаменитой Пулковской гостинице. И там его внимание привлекли две яркие красавицы, близняшки-казачки Оля и Таня, да так, что при виде них кровь бросалась в голову. Ничего подобного он не испытывал тысячу лет и совершенно не чувствовал своего возраста, а ему буквально месяц назад стукнуло сорок девять. Голова его плыла, уши заложило, он был полон самых невозможных желаний и не мог произнести ни слова. Потом он со стыдом вспоминал, как во время танца ему ужасно хотелось поцеловать Таню руку, и не сделал этого лишь благодаря невероятному усилию над собой. Ещё неизвестно, как бы она к этому отнеслась.

Женья заняла второе место среди ста пятидесяти претендентов в эстрадном вокале. Попробовала она себя тогда и в народном, а всё потому, что, перепутав фолк-рок с народным вокалом, записалась именно на него (отсылкой документов на конкурс занималась она). Когда по прибытии в северную столицу Евдокимов узнал об этом, тут же переписал заявку, объяснив дочери, что ничего общего с народным вокалом её опусы не имеют. Поскольку *нет пророка в своём Отечестве*, дочь упрямо твердила, что имеют, и, чтобы в очередной раз доказать упрямыце свою компетентность, Евдокимов согласился на участие в том числе и в этом конкурсе, который проводился вместе с академическим вокалом в стенах солидного музыкального заведения.

Прослушивание проходило в пустом зале. Как и полагается, пели без микрофонов. И это первое, что округлило Женины глаза. Акустика всё же имела, но самая примитивная, обработки голоса никакой, а звукорежиссёр,

как кинооператор, находился где-то под потолком за стеной зала. Заметив, что с дочери спала спесь, Евдокимов сказал:

— Ну? Что?

Женя упрямо отвернулась и обронила в ответ:

— Всё равно буду петь.

— Ну-ну...

И Евдокимов принялся устанавливать камеру. Он был единственный с камерой, и на это конкурсная комиссия сразу обратила внимание, объявив для солидности, что произведется запись выступлений и желающие их получить могут обратиться к организаторам конкурса. Евдокимов не стал возражать, и к нему тут же подошли несколько человек с просьбой о получении записи. Евдокимов ответил, что съёмка никакого отношения к организации конкурса не имеет, но свою визитку дал, пообещав выслать записи почтой.

\* \* \*

Списки, наконец, вывесили. И, как уже было сказано, они с дочерью обнаружили себя в числе победителей. Стало быть, к 16:00 надо было вернуться на гала-концерт. Толпившийся возле стенда народ комментировал результаты.

В отличие от Москвы, старый Питер во многом сохранил свой исторический облик. Как и полагается северной столице, то светило солнце, а то валил мокрый снег. В плотном транспортном потоке их “Турист” не спеша пробирался по узким улочкам, вдоль каналов, иногда пересекая их по горбатым, с красивыми чугунными перилами мостам. Останавливались у набережной Невы, у Сфинкса. Река ещё стояла во льдах. Побывали у Зимнего дворца, Медного всадника, Петропавловского собора. Обогнули Исаакий, проехали недалеко от Александро-Невской лавры и последнюю парковку сделали у Николо-Богоявленского собора. Площадь перед собором была в снегу и вся усыпана резвящейся детворой.

Домой ехали на “Сапсане”. И даже не верилось, что появились такие скоростные поезда. Прежде дорога до Питера на фирменном поезде отнимала вечер и ночь, а тут всего семь часов пути. Плавню покачиваясь, поезд мчался со скоростью винтового самолёта. За широким окном, пока не стемнело, проплыли ещё заснеженные, но уже с весенними проталинами поля и леса.

\* \* \*

На юбилей школы народу прибыло много, а вот из их класса — всего лишь один Калинин. Они пожали друг другу руки, разделись, записались и поднялись в спортивный зал. Началось с замечания Калининцева:

— Нет, всё-таки красивые у нас бабы!

— Не понял.

— Ездили тут наши мужики в Муром, говорят, не на кого посмотреть, а у нас, на какую ни глянь, все красавицы!

— Так уж и все?

— А ты сам посмотри.

И тогда из чистого любопытства Евдокимов стал поглядывать по сторонам, и, разумеется, ничего особенного не замечал, и, может быть, вскоре перестал бы, кабы случайно не задержал внимание на одном лице. А сидела неподалёку, в профиль, девушка лет двадцати пяти. И впрямь, подумал Евдокимов, красавица. Невольно залюбовался. И, почувствовав его взгляд, девушка сама повернула голову. Буквально на мгновение их взгляды встретились, но и этого оказалось достаточно. Девушка тут же опустила глаза, Евдокимов — тоже, мельком глянул на Калининцева, тот ничего не заметил, и, однако же, в одно мгновение Евдокимов выпал из общего интереса. Всё его внимание, даже если не смотрел, сосредоточилось на ней. Он попытался себя усуетить (“в чём, собственно, дело, дорогой товарищ, вы чего это?!”),

а сам продолжал исподтишка наблюдать. И, как бывало когда-то в этой самой школе, девушка это заметила. Разумеется, поворачиваясь в очередной раз в его сторону, ни на кого конкретно она не смотрела, и также было понятно, что время от времени поворачивала она голову совершенно невольно, движимая непреодолимым любопытством. Скользнет мимо его глаз, задержит на пару секунд внимание в пространстве — а Евдокимова словно жаром обдаст. И так продолжалось до конца торжественной части.

После вручения подарков все разом поднялись и стали расходиться. И тут Евдокимов потерял её из виду.

В спортзале меж тем запустили танцы, и на них осталась одна молодёжь. Вскоре “они”. “Они” — потому, что на торжественной части она сидела с подружкой. Контраст удивительный. Такое впечатление, что одну изваял художник, другую вытесал топором пьяный мужик.

Чего Евдокимов не ожидал, так это увидеть подружек на кушетке напротив раздевалки, к которой они с Калиничевым подошли. И тут они уже не просто встретились, а вперились друг в друга. Она смотрела в каком-то ужасе, очевидно, понимая, что так нельзя, и в то же время не находя в себе силы оторваться от его взгляда, а он — от её. Однако Калиничев всё это вовремя прекратил:

— Ну что, пошли?

И они направились к выходу. На улице стояли ещё. Во время ничего не значащего разговора Евдокимова всё подмывало вернуться в школу. Вот так вот просто войти и спросить: девочки, вы откуда будете, в смысле, из какого из четырёх посёлков, дети которых учились в их школе? Но Калиничев и это прекратил:

— Ну что, по домам?

И Евдокимов его проводил. Благо, по пути было. На прощание пожали друг другу руки, дали совершенно необязательное обещание друг друга не забывать. Калиничев спросил напоследок:

— Домой или к родителям?

— К родителям, — ответил Евдокимов, а сам повернул к школе.

Подойти в присутствии такого количества знающего его народа Евдокимов ни за что бы не решился, но притаиться где-нибудь в темноте, чтобы, если повезёт, навязаться в провожатые, был почти готов.

...И вот они уже идут рядом, а понятливая подружка тут же удалилась. Она смотрит перед собой, вся в напряжённом ожидании, что будет дальше. И в нём тоже это ожидание чего-то безумно влекущего. Он берёт её за руку. Она поворачивает голову. В её глазах покорность и страх... И тогда усиленным воли Евдокимов обрывает себя: “Нет, дальше нельзя!”

И за всё время пути к станции захватывающая картина знакомства назойливо преследует сердце обманчивой жалостью по чему-то так и не осуществившемуся.

\* \* \*

Они познакомились с Аней на втором курсе музыкального училища, на новогоднем вечере. Тогда Евдокимов сыграл одного из самых забавных персонажей по имени Калибан в переделанной для борьбы с “опиумом для народа” сценке из шекспировской “Бури”.

Потом начались танцы. Евдокимов костюма не снимал и ходил героем, и далеко не сразу заметил, как одна чернявая девица при взгляде на него закрывает ладонью рот и отворачивается. Ему это надоело, и он пригласил её на танец. Тогда он уже играл в вокально-инструментальном ансамбле в местном клубе и очень этим гордился. В училище занимался на отделении музыкального искусства эстрады, Аня — фортепьяно и академическим вокалом. Особыми данными она не располагала и, понимая это, подумывала о преподавательской работе. Евдокимов же был одним из лучших и по окончании училища поступил на третий курс Московского института культуры по классу композиции, который мог бы и не окончить по причине свалившейся

на него сначала подпольной, а потом, благодаря перестройке, всероссийской славы. Это было время самых драматических отношений. В училище они друг на друга наглядеться не могли, а тут...

Впрочем, всё это было потом, тогда же каждый вечер после занятий Евдокимов провожал Аню. Они долго бродили по улицам, иногда ходили в кино или в кафе-мороженое, но чаще стояли в подъезде. Музыка они любили оба — и классическую, и народную, и эстрадную — и могли говорить о ней часами. И всё-таки музыка не была единственным предметом их разговоров. Говорили и о кино, и о прочитанных книгах. Но ещё больше им нравилось держаться за руки и украдкой целоваться в темноте подъезда.

Первое время, посещая их репетиции, Аня даже пробовала петь, но у них уже была солистка, и пела она, к сожалению, лучше. Ребята понимающе разводили руками, а Евдокимов не решался об этом Ане сказать. И когда она догадалась, произошла первая ссора: почему молчал? Однако дулась недолго. Да и на что? А вообще, как она им гордилась, какими счастливыми глазами смотрела на него во время концертов, на танцах, во время которых никогда и ни с кем не танцевала!

Никогда ещё песня не была таким властелином умов и столь обнажённым нервом жизни, как во времена появления первых электрогитар, в то удивительное время негласного союза молодёжи всей планеты, когда казалось, не было гор, которые нельзя не свернуть. Всё, что происходило вокруг — космонавтика, технический прогресс, противостояние систем, — воспринималось в виде незначительного обрамления того, чем были поглощены буквально все. Невозможное ни для каких идеологических ухищрений время, когда во всех странах мира молодёжь пела одни и те же песни на одном и том же языке. От этих песен, как от родников, по всей земле растеклись ручьи и реки, орошая готовую к плодоношению почву новой весны человечества, весны молодых чувств, того неповторимого времени.

Это было время поступи всё новых и новых талантов. Господствующая идеология в сердцах молодёжи была поглощена музыкой совершенно. И хотя чиновники всячески пытались вклиниваться в репертуар, ни одна из обязательных в концертных программах песен не находила отклика ни в одном сердце и не овладела ни одним умом. Они относились к той обязаловке, от которой, как от чумы, шарахались со школы. Их просто-напросто терпели, как терпят выживших из ума родственников, брызжащую соседку.

Это было время, когда семиструнные гитары уходили в историю, шестиструнные были в дефиците, а электрогитар не было вообще, и по всей стране развернулось их кустарное производство. Это же касалось и усилителей низкой частоты, и акустики. А микрофоны! А ударные установки! Да что там, даже шнуры и разъёмы!

Качество извлекаемого звука от самодельных гитар было отвратительным, но вскоре появились заводские. Лучшие ударные установки и аппаратура привозились из-за рубежа, гитары — тоже. Всё это стоило сумасшедших по тем временам денег и было доступно далеко не всем. И, однако же, это не мешало появлению всё новых и новых вокально-инструментальных ансамблей.

Ансамбль, в котором играл Евдокимов, был создан задолго до появления названия и, разумеется, до того, как у них появились приличные инструменты и аппаратура. Каждую пьесу они оттачивали до совершенства. На это уходило всё свободное время, и довольно часто приходилось засиживаться в клубе допоздна.

Их посёлок находился на окраине города. Несколько таких же посёлков с различными названиями входили в эту округу. И там, где имелись клубы, гремели свои ансамбли.

В Питере Евдокимов упомянул о своём первом выступлении. Это ещё не было самостоятельным концертом и случилось задолго до того, как они стали играть на танцах, а выступили тогда в составе художественной самодеятельности. Сначала пел хор, потом развлекал публику хореографический ансамбль, и в самом конце выпустили их. Зал был битком, и Евдокимов хорошо помнил, какое волнение вызывало в нём его нетерпеливое гудение.

Наконец, занавес поплыл, волнение в зале стало стихать, сотни любопытных глаз устремились на сцену, а Евдокимову казалось, на него одного, стоявшего впереди перед микрофоном с гитарой.

Когда послышался счёт палочек, Евдокимов от волнения начало вступления пропустил. В зале послышались ехидные смешки. Однако он сумел взять себя в руки и, несмотря на затянувшийся до неприличия проигрыш, начал:

*Для меня нет тебя прекрасней...*

И, заметив, как по залу прошла трепетная волна, приободрился. Затем пела их солистка. Поскольку далеко не всем из старшего поколения их “модные песни” были по душе, её выступление прошло на ура.

В общем, в институт они поступили в один год и жили в общежитии. И вот там, в нетрезвом виде, в одной из комнат общежития между ними “всё это” и произошло. Для обоих впервые. И хотя между ними о том не говорилось ни слова, как бы само собой разумелось, что рано или поздно они всё равно поженятся. И так бы, наверное, вскоре и произошло, не подхвати его вихрь славы, а вместе с нею и дурные деньги, и море поклонниц. Евдокимов перестал появляться в общежитии.

Аня из прежней гордой девчонки превратилась в какую-то безгласную, покорную, готовую на всё ради него рабыню. Надо ли говорить, как сразу упала она в его глазах? Не то чтобы разонравилась, нет, но после той ночи в их отношения вошло нечто безвкусное, да ещё на фоне шума эстрады, визга толпы, моря эффектных поклонниц.

Это продолжалось около года. Евдокимов разве что ноги об неё не вытирал. Верёвки вил. Аня всё терпела. И даже не терпела, а как должное принимала. Собачонкой за ним таскался. Не в том смысле, что проходу не давала, а свистнет — прибежит, топнет ногой — в конуре скроется и носа не высовывает, пока снова не позовёт. Но именно это его и бесило. Даже кричал на неё не раз, а если, мол, скажет, чтобы глаза его её больше не видели, тоже буквально исполнит? “Да”. И так это “да” скажет, просто взял бы и задушил! Даже проучить пытался, не появляясь в общежитии месяцами. И первый же этих разлук не выносил. Сначала вроде бы ничего, свобода, что хочу, то и ворочу, а потом сосать начинает. Как представит, что ею уже кто-нибудь владеет, раз безответная она такая, и нехорошо станет. До того аж, что места себе не находил. Со всеми в ансамбле перецапается. Вот так вот стиснет зубы: “Не пойду!” Но стоит принять на грудь, и тащится в общежитие. Аня спускается вниз, подымает на него покорные, готовые на всё глаза. Даже с какою-то злобою он выщедит через зубы: “Пошли”. Ни слова не говоря, оденется, выйдет. Идут. Едут. И всё между ними на квартире приятеля опять происходит. А потом снова, как баран, упрётся: рано, и вообще всё это не то...

А как предложение сделал! Скажи кому, не поверит! После очередного перерыва, весь на взводе, злой, как чёрт, приходит в общежитие. “Одевайся”, — говорит. Оделась. “Идём”. Спускаются в метро. Одну пересадку делают, вторую. Выходят на Воробьёвых горах. Ночь. На улице ни души. Идут. Долго шли. Вдоль чугунного ограждения. Останавливается, наконец, он. Замирает в шаге от него она, как тень. В глазах ужас. Призналась потом: “Думала, убивать меня собрался”. А он с такою злобой, с такою ненавистью, оттого что ничего с собою поделать не может: “Ну всё, — говорит, — хватит, замуж за меня выходи”. Ничего она ему на это не сказала. Да и что говорить? На другой же день и подали заявление. Кто бы знал, в каком раздрае до самой регистрации он находился! Как перед казней. Жуть внутри, жуть впереди, и в эту жуть его, словно быка, на цепи тянут...

Ну, а потом началась другая жизнь. Родилась Жёна. Тогда уже пришла очередь перемениться ему, а вскоре завязал и с эстрадой. Не захотел работать на паханов. Они тогда весь шоу-бизнес данью обложили, и с теми, кто не желал платить, жестоко расправлялись. Да и другие приоритеты объявились. Евдокимовы вернулись на родину. На заработанные им дурные деньги купили трёхкомнатную квартиру. Аня устроилась в музыкальную школу, стала

петь в архиерейском хоре. А вскоре и Евдокимов согласился его посещать, правда, не регулярно, семью надо кормить, и он торговал компьютерами.

Ещё во время учёбы в училище по классу фортепьяно Аня брала дочь на певки архиерейского хора, а потом ввела в состав. Тогда в кафедральном соборе постоянно появлялись молодые ребята, готовящиеся к принятию сана. С одним из них Женя и завела знакомство. А буквально через месяц вдруг объявила, что выходит замуж, поскольку владыка её избраннику велел срочно подбирать невесту. Так накануне своего совершеннолетия Женя стала женой священника. В дьяконах зятя подержали недолго. Затем иерейская хиротония, а ещё через пару недель отправили на только что открывшийся приход. И хотя это были не руины, однако же, и далеко не то, что можно называть храмом.

Дело прошлое (винил Евдокимов одного себя), ладно Аня, у неё от храмовой идиллии вполне мог помутиться рассудок, но у него-то, человека трезвого и много чего повидавшего, почему не возникло подозрение, когда при первой же встрече с зятем заметил странное подёргивание головы? Подумал, может, волнуется, бывает. Да и стали бы больного человека рукополагать?

Сначала родилась Маша. И когда ей исполнился год, у неё оказалась вывихнутой рука. Евдокимов никогда не умел водить машину, зато Аня, а потом и Женя, как только появилась возможность, сразу выучились на права. Поскольку Евдокимов был занят работой, Аня частенько навещала дочь одна. Да и ехать до райцентра, где жили молодые, не больше часу. И вот вскоре после этих поездок, а становились они всё чаще, Аня стала привозить нерадостные вести. Ещё до вывернутой Машиной ручки. Сначала у Жени появился запудренный синяк под одним глазом, затем — под другим, потом ноги, а затем руки оказались в синяках. На всё это следовали невероятные объяснения: споткнулась, запнулась, нечаянно задела за косяк двери... Евдокимову это сразу же показалось странным, но Аня с жаром уверяла, что дочь не стала бы от неё ничего скрывать. И так продолжалось до того дня, когда оказался изувечен ребёнок.

Женя приехала ночью с Машей на такси в слезах и всё рассказала. Оказалось, зять не только постоянно избивал, но и совершенно запугал дочь. Таким образом, бегство стало криком отчаяния и страхом не столько за себя, сколько за малолетнюю дочь.

Евдокимовы тут же пожаловались владыке. Зятя направили на медкомиссию и обнаружили какую-то мерцающую шизофрению. Над Женей и Машей как только он не измывался. Евдокимову бы и в кошмарном сне такое не приснилось. Он готов был зятя убить...

И тут случилась беда с Аней.

Скорее всего, попала она в аварию из-за того, что слишком много думала о постигшем их горе. Она даже спать перестала, так её всё это мучило. Евдокимов несколько раз советовал жене обратиться к врачу, она даже и слушать не хотела. И однажды, очевидно, в таком взвинченном состоянии выскочила на перекрёстке на красный свет, и её на полном ходу сбил огромный джип. Умерла в реанимации. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Таким образом, они остались втроём, если не считать его и Аниных родителей.

Но если бы только это, хотя что может быть хуже, и, тем не менее, это ещё не всё.

\* \* \*

Владыка и не подумал запретить зятя в служении. Более того, он пригласил Женю на приём, после которого она вышла, как из бани, на вопросы не отвечала, смотрела себе под ноги, хмурилась, а потом заявила: “В эту церковь я больше ходить не буду!” Евдокимов пытался выяснить причину, приставал с вопросом, что случилось, на всё Женя упрямо отвечала: “Ничего. Просто не буду, и всё”. А потом всё-таки рассказала, после

чего и Евдокимов перестал ходить “в эту церковь”, хотя от Бога их с дочерью это не оттолкнуло.

А случилось то, что новый владыка устроил в пределах тогда ещё не раздѣлённой епархии нечто вроде той “вертикали власти”, начало которой было положено судьбоносным “Я ухожу...”. При официально декларируемой заботе о народе и самом беззастенчивом вранье, казнокрадство, разбазаривание государственной собственности, методичное высушивание экономики и планомерное обнищание народа достигли катастрофических размеров. Кто на кого повлият, Евдокимов не знал, но сходство в методах обнуления чужих карманов ради прибавления нулей к единице в своих было очевидным.

Наглядной иллюстрацией новой экономической политики стали ежегодные епархиальные собрания.

“Единица” сидела на сцене, “все остальные” — в зале, и нарушить это соотношение было невысказано, поскольку “единица” производила впечатление такого подавляющего большинства, перед которым “все остальные” представлялись совершенным ничтожеством.

Справедливости ради надо заметить, что с приходом пообещавшего “мочить в сортире” жизнь действительно стала налаживаться, правда, несмотря на множество упущений, и, однако же, чем дальше, тем их становилось больше. Дошло, наконец, до того, что Евдокимов понять не мог, кто на кого работает: паразиты на страну или страна на паразитов? И главное, какую роль во всём этом играет президент? Почему не принимает никаких мер, а, напротив, всячески опекает присосавшихся к народному телу паразитов? Почему всё отдано в руки “тимуровской команды”, в девяностые годы превратившей страну в настоящий бомжатник и мировое позорище? Почему почти ничего из его ежегодных посланий и указов не претворяется в жизнь? Что или кто этому мешает? Ну, не может же быть, чтобы во внешней политике каждый шаг был безупречным, а во внутренней — почти всё вопреки здравому смыслу, во вред стране и на благо одним ненасытным паразитам.

Впрочем, в очередной раз останавливал себя Евдокимов, во всех этих делах сам чёрт ногу сломит, но чтобы в лоне Матери-Церкви...

Доселе всё, относящееся к вопросам веры, Евдокимов принимал за чистую монету. Вместе со всеми с зажжённой свечой внимал словам “Покаянного канона”: “Откуда начну плакати окаянного моего жития деяний...”, — а затем под звѣздным великолепием шёл крестным ходом, радуясь Светлому Христову Воскресению. Регулярно ездил на исповедь к одному и тому же священнику. Тот с приходом нового владыки подвергся гонению за то, что вместо своевременного налога на нужды далеко не бедной епархии посмел выдать нищенскую зарплату учителям православной гимназии. И за это его сначала отправили в монастырскую тюрьму (за ненадобностью упразднённые революцией, они теперь понадобились опять), затем он сделался “разъездным” и, наконец, был вынужден перейти в другую епархию.

Евдокимов верил всему, что вещали ему с высоты амвона, а когда возникали недоумения, чужими словами уверял себя, что голова ему дана для того лишь, чтобы, во-первых, ею есть, а во-вторых, без рассуждения верить в то, что Бог делает всё для его, Евдокимова, и его близких спасения. Когда же с поущения самого предусмотрительного и справедливого Бога на свете из-под ног была выбита почва, в том числе при содействии нового владыки, устроившего в пределах епархии примерно то же самое, что паразиты со всей страной, Евдокимов озадачился этим вопросом всерьѣз и стал копать.

Впрочем, всё началось гораздо раньше, а именно, с гонений на того самого священника, к которому Евдокимов не только каждое воскресенье ездил на исповедь в один из районных центров на электричке, но и помогал его грандиозным, по масштабам епархии, начинаниям. И само собой, оказался среди инициаторов напечатанной в одной из столичных газет статьи, под которой подписались более полутора тысяч “неправильно воспитанных” священником прихожан, что было также поставлено тому в вину, хотя он во всём этом участия не принимал, поскольку лежал с сердечным приступом в больнице. Всё-таки не железный, да и не молодой, как-никак, а было ему в ту пору без году семьдесят.



“Видя происходящий в стране развал девяностых, народ как за единственное спасение ухватился за возрождающиеся храмы, — говорилось в этой статье. — Стараясь оградить от заливающего экраны телевизоров смрада, родители потащили детей в церковь. Тогда и появилась нужда в воскресной школе. Но дети только первое время посещали её, а затем их стало приходиться всё меньше и меньше. И тогда, посоветовавшись, мы стали устраивать зимние (на лыжах) и летние (с палатками у костров) походы, спортивные соревнования, спектакли и концерты с участием самих детей. Организовали кружки: вокальный, хоровой, хореографический, художественный, гимнастический, русского кулачного боя, кройки и шитья, рисования, конструкторский — и чего только у нас не было.

Результат превзошёл все ожидания. Воскресная школа из десяти учеников выросла до двухсот, и всё продолжали записываться. Места катастрофически не хватало. И тогда встал вопрос о новом помещении. И тут как раз подвернулось старое, требующее огромных затрат на ремонт здание, от которого отказались все бюджетные учреждения и которое мы сразу стали называть просветительским центром.

В нём отвели место для библиотеки. Самую большую комнату превратили в театр, соорудив невысокую сцену. Из заброшенного летнего лагеря привезли детские стулья. На окна повесили красивые шторы. С появлением театра у нас открылось второе дыхание. А вот мысль о создании гимназии была подана покойным владыкой. Как-то посетив наш приход, осмотрев просветительский центр, владыка сказал, что пора бы подумать о чём-то более существенном, чем воскресная школа.

И тогда было решено создать гимназию. Долго рассуждали, пока не пришли к общему мнению, что самое гармоничное развитие личности даёт классическое образование — с преподаванием греческого, латыни. Кстати, насильно нашли учителей. Из областного центра ездили.

Чтобы оценить уровень подготовки учеников, мы постоянно принимали участие в школьных олимпиадах и всегда занимали призовые места. К этой работе наш батюшка привлёк всех своих родственников. Его дочь стала директором гимназии, зять — хореографом и режиссёром театра. Сын, будучи руководителем строительной организации, постоянно осуществлял капитальный и текущий ремонт в долг. Младший брат, проректор университета, регулярно привлекал к участию в конференциях представителей классических гимназий из Германии. В последние годы гимназией заинтересовался МГИМО. Гимназистов стали вывозить в Москву.

Мы были полны энергии трудиться и дальше, как вдруг узнаём об архиерейском Указе: без объяснения причин нашего батюшку отстраняли от всех должностей, или, как было написано в судьбоносной бумаге, послушаний, и направляли для “исправления” в монастырскую тюрьму. Это было такой неожиданностью и, главное, так ошеломило, что в первую минуту никто в это не мог поверить. “Да ну, бросьте, какая-нибудь ошибка! Да быть этого не может! Что они там, не понимают?”

И когда до нас дошло, что никакая это не ошибка, поднялся народ. Такой волны, такого единодушия, наверное, со дня революции не было. В епархию одно за другим полетели письма. В письмах выражались мольба, убедительнейшая просьба и даже опасение за батюшкино здоровье.

Воспитание детей и молодёжи всегда заботило нашего батюшку. В итоге — многочисленные примеры сохранившихся от распада семей. Именно благодаря батюшке в нашем храме всегда слышны детские голоса. А сколько, благодаря ему же, стало у нас многодетных семей! Всё это дорогого стоит. Для многих из нас батюшка стал близким, дорогим человеком. Именно такие люди, как он, заслуживают и почитания, и уважения, и благодарности”.

И в завершение: “...нижайше просим, умоляем...” и — полторы тысячи подписей с домашними адресами. Иначе — хоть сейчас вызывай на суд в качестве свидетелей.

Другое письмо было от педагогического коллектива гимназии с просьбой восстановить “нашего батюшку в полномочиях благочинного и настоятеля храма. Мы решились просить Вас об этом, уважаемый Владыка, так как

состояние души, в которое нас повергло известие о случившемся, более чем недоумение. Если бы Вы только знали, сколько слёз пролито и проливается до сих пор после этого известия и какой резонанс среди общественности оно получило, мы уверены, что Вы не отказали бы нам”.

“Простите, но мы не можем обойти такое решение покорным молчанием. Потому и осмелились просить Вас оставить нам нашего батюшку и надеемся на Вашу милость и добросердечие. Поверьте, мы сегодня осиротели. Ради Христа, смените гнев на милость”.

И подписи, подписи, подписи...

И это не всё.

К “многоуважаемому Владыке” со своими просьбами обратились коллективы учителей средней школы, фабрики, завода, всевозможных ЗАО, ООО, ОАО, ИП, муниципальных учреждений, городских аптек, разных бытовых служб и даже метеорологической станции. И везде одно и то же: обращаемся к Вашему милосердию, надеемся на понимание, ходатайствуем, просим, умоляем.

И это ещё не все! “За активнейшее участие в общественной жизни района протоиерею (такому-то) решением Земского собрания присвоено звание “Почётный гражданин города”.

Мало того! Глава района, глава Земского собрания лично ездили просить архиерея внять мольбам и просьбам общественности.

И что же? Лёд бы от таких прошений растопился, не то что простое человеческое сердце!

Но там, видимо, было сердце иное. И предписали нашему батюшке отправиться в монастырскую тюрьму. После отбывания срока его направили служить в областной центр. Зятю с дочерью пришлось уволиться из гимназии, продать дом и переехать в город, где, слава Богу, сохранилась трёхкомнатная квартира, в которой они с пятью внуками едва поместились.

Дальше началось обычное издевательство по отработанной схеме. Опального батюшку сделали “чредным” священником в городском женском монастыре, а в выходные стали гонять по отдалённым сельским приходам и посылать в непонятно для чего существующий мужской монастырь, там некому было служить за отсутствием монахов. Иными словами, батюшке не давали отдыха, пытались вынудить на какой-нибудь опрометчивый шаг, чтобы подвести под запрет и тем самым доказать правоту архиерейского Указа. Не помогло. Однако будучи человеком исполнительным, батюшка так умотался, что вторично попал в больницу. Затем ещё раз, и ещё. И тогда, чтобы окончательно не надорваться, он подал прошение о переходе в другую епархию.

Все эти издевательства совершались руками послушных “князей”, как эту категорию окрестил покойный владыка. Так и заявил однажды на одном из епархиальных собраний, обращаясь к отцам: “Я вас поставил служить, а не княжить”. Да в том-то и беда! Насколько покойный владыка был уверен, что должны “служить”, настолько заступивший на его место считал, что именно “княжить”. И такие “князья” сели повсюду.

В одном районном центре, например, при управлении такого “князя”, завоевавшего высокое доверие путём регулярного писания доносов на братьев (“Доношу до Вашего Высокопреосвященства...”), произошёл такой случай. Шестидесятилетнего священника сослали на покаяние в монастырскую тюрьму. Будучи больным сахарным диабетом, да ещё гипертоником, от монастырских харчей и тяжёлых условий жизни бедняга угодил в больницу. Кто-то, посочувствовав, помог ему написать прошение (он в этом отношении был совершенно беспомощным), чтобы перевели на более приемлемое для здоровья послушание. К прошению приложили медицинские справки. И что же? “Пожалели”, заставив больного человека с утра до вечера дежурить в центральном храме. И больной человек высиживал то на уличной лавке, в окружении старых могил, поскольку храм был на кладбище, то на такой же лавке в самом храме, привалившись к холодной каменной стене. Негде было даже прилечь, чтобы перевести дух... Дежурство в пустом храме было совершенно бессмысленным, форменным издевательством над больным человеком. И его парализовало.

Другой случай. В течение трёх лет одного молодого священника (у них с матушкой четверо детей мал мала меньше, на подходе в животе брыкается пятый) девять раз переводили с прихода на приход. Матушка дошла до крайней степени отчаяния, глядя на страдания ребятишек. И однажды, не вытерпев, поехала на приём к владыке. Выслушав матушку, на её вопрос, с чем связаны постоянные перемещения, и притом на приходы, где нет условий жизни для детей, владыка ответил: “Целесообразность”. И подарил брошюрку смиренного содержания. Но этим не кончилось. На епархиальном собрании матушку выставили бунтаркой, видите ли, посмевшей побеспокоить владыку по таким пустякам, как “какие-то сопливые дети”.

Другую такую бунтарку, тоже матушку, не сумевшую попасть к владыке на приём и посмевшую во время епархиального собрания с места обратиться напрямую с устной жалобой, поскольку ни на одну из письменных за год не получила ответа, владыка приказал “вывести вон”. И её буквально на руках вынесли из зала здоревенные иподьяконы.

Что из себя представляют эти собрания? Из слушания “царских добродетелей”, разумеется. Знаете, что такое “чёрный кабинет”? Это когда представление идёт на чёрном фоне. А поскольку на чёрном фоне человека в чёрном было бы просто незаметно, “царь” устроился на фоне белом, как бы символизирующем свет, просвещающий всех. Излучение этого света, сопровождавшего зачитывание царских добродетелей, было таким благотворным, что половина зала буквально через минуту засыпала.

В открытую выразить неудовольствие... не царскому величию, нет, что вы, об этом даже и речи не могло быть, а просто каким-нибудь неблагоприятным поступком очередного “князя” — Боже упаси! После того как на первом собрании один священник рискнул, после чего сразу слетел с прихода, больше уже никто не решался. Допускался после этого случая на сцену только один архимандрит, и то для того лишь, чтобы от лица всего “царства” выразить благодарность “царю” за то, что он есть...

Пару слов по поводу посмевшего возвысить голос священника. Знаете, чего он... не потребовал (какие могут быть требования, когда в “царстве” даже “заявления” “прошениями” называются?), а просто предложил? Создать комиссию, которая разбирала бы споры между “князем” и “не князем”, а то ведь, сказал, что получается? Назначили его, и на него вроде как комплекс непогрешимости сразу сошёл, ничего слушать не хочет, чуть что не так — сразу: “Пиши объяснительную!” Это “царю-то”? Что-де на его “князя” комплекс непогрешимости сошёл? Иными словами, что “его величество” ошиблось в назначении? Да это равносильно самоубийству! И потом, какие могут быть комиссии при абсолютной монархии? Крепостное право — да. В государстве оно ещё в 1861 году упразднено, в лоне Матери-Церкви — до сих пор в наличии. Без отпускной грамоты в другую епархию ни один Божий раб не перейдёт. Как в старину: барин захочет, барин отпустит, а не захочет, так и сиди. А то вообще может запретить в служении “за нарушение присяги, данной перед Крестом и Евангелием”, а что это означает, “не ваше ума дело”.

Кстати, о сменившем нашего батюшку “князе”. Свою деятельность, разумеется, тот начал с “целесообразности”, в первую очередь отменив воскресные водосвятные молебны, совершавшиеся неукоснительно в течение пятнадцати лет. Само собой, за это время народ к ним привык. Водосвятные молебны на святой Руси любят, вообще святую воду, которой кропят не только жильё, но и хлев, и домашний скот, и самих себя. И вдруг — нельзя. “Почему?” Однако на такой примитивный вопрос “князь” ответить не соизволил. С гордо поднятым забралом прошёл сквозь “невидимую” толпу, сел в машину и отбыл. Старушки пошептались-пошептались, да и уговорили второго батюшку молебен отслужить — зря, что ли, они трёхлитровые банки с ведёрками “в такую дальницу тащили?” Сказано — сделано. Натаскали из колодца полные баки воды, то-олько начали — появляется “князь” и с ходу задаёт коронный епархиальный вопрос: “Кто благословил?” Ответа на этот вопрос нет, поскольку благословить может только священник, а как он может благословить после того, как “князь” не благословил? Народ замер

в страхе за батюшку, судьба которого повисла на волоске. И тогда, сжалившись над без вины виноватыми, “князь” процедил сквозь зубы: “Всё вылить”. И в его присутствии всю воду вытаскали и выплеснули на землю возле храма.

И такие “князья” до недавнего времени сидели по всей епархии и поголовно “княжили” в многоштатных городских соборах, “эффективно благочинствуя”, по выражению секретаря.

До недавнего времени, потому что год назад епархию разделили на три части, и многие облегчённо вздохнули, поскольку на окраинах опять появились, как выражаются некоторые шутники, “православие с человеческим лицом”.

Но это уже была другая история, в которой после такой статьи, гибели жены и посещения дочерью архиерея Евдокимову уже не было места.

\* \* \*

И вот, когда Евдокимов пребывал в такой душевной разлуке, они с Женей полетели в Китай, где ей предложили выступления. Прилетели в Пекин, разместились в гостинице, познакомились с Ириной, ответственной за их пребывание, с другими исполнителями из России.

Постепенно куда-то ушли российские заботы, и, сидя вечером возле фонтана в вестибюле, Евдокимов пошутил, что тоже мог бы выступать, а когда все удивились, он, совсем раскрепостившись, стал петь. И по мере того, как пел, всё объёмнее и сильнее его голос заполнял это огромное, но всё-таки замкнутое пространство. Находившиеся в вестибюле, отложив дела, не отводили от него удивлённых глаз. И когда кончил, Ирина сказала, что, так уж и быть, поговорит с организаторами.

— Ну что вы, — тут же возразил Евдокимов, — не надо. Это я так, для знакомства.

— А-а... Ну, познакомиться у нас ещё будет время. Все слышат? Каждый вечер после ужина собираемся у фонтана!

К Евдокимову подошла изящная молодая женщина и сказала, что, если бы знать заранее, они могли бы разучить несколько песен, чтобы составить аккомпанемент во время посиделок у фонтана.

— А вы — это кто?

— Наш квартет — три скрипки и виолончель: Валя, Света, Ксения и я, Таня.

Стоявшие за ней такие же изящные молодые женщины одна за другой мило присели. Евдокимов представился тоже, представил дочь, сказав, что она ещё и композитор. Таня спросила:

— Может, дадите что-нибудь, я распишу на партии, нам частенько приходится выступать в разных местах. Будем ваше творчество продвигать.

— А что вы окончили — консерваторию?

— Консерватории во Владивостоке нет.

— Училище?

— У нас это образование считается высшим.

И тут опять началось...

Но почему-то не Таня, начавшая разговор, привлекла внимание Евдокимова, и не самая симпатичная из всех Ксения, а Света. Может быть, потому, что всё время разговора она смотрела на него с каким-то обворожительным любопытством, будто разгадывая загадку или что-то приятное вспоминая. Евдокимов сначала не обратил на это внимания, потом заметил, бегло glanced раз, другой, взгляды их встретились, как бы в удивлении, замерли, поняли друг друга и тотчас разошлись. А потом во всё время разговора встречались только на короткие мгновения, точно оба они, прекрасно понимая, что это неприлично, ничего не могли с собой поделать, смотреть друг другу в глаза их неудержимо влекло.

Когда, наконец, расстались и направились в номер, Евдокимов стал убеждать себя, что всё это мимолётное, как и в Питере, и в школе, скоро

пройдёт, что такое бывает при первом знакомстве, но потом, когда друг к другу приглядишься, да ещё вступишь в обычные, так сказать, нейтральные разговоры, всё это бесследно исчезает, просто не надо об этом думать, и оно само собой отступит. И даже показалось, отступило, когда, войдя в спасительную прохладу номера, по примеру дочери, Евдокимов с размаху плюхнулся поперёк широкой кровати и сказал:

— Это надо! Приехать за тридцать земель и, вместо того чтобы как можно больше всего увидеть, провалиться в номере! До ужина ещё масса времени, можно поехать в центр или побродить по окрестностям — живописнейшая же местность! — но по такой жаре!.. Просто издевательство какое-то!

— По программе в четверг, после завтрака, экскурсия по Пекину. Как уж эта их знаменитая площадь называется, наподобие нашей Красной, с мавзолеем?

— Тянь-ань-мэнь!

Евдокимов произнёс это по складам.

— И не выговоришь даже.

— У них тут ничего не выговоришь, а между тем все прекрасно общаются.

— Кричат.

— Что?

— Как будто всё время радуются или сердятся — сплошные междометия.

— Или хотят друг дружку испугать или удивить! — И он попытался изобразить: — У-унь ё! Ти-и ю! Му-унь ю! Э-энь ё! Ху-у ю! Ху-ун хо! И всё с ударением на последнюю букву. Если они так же поют, немудрено в невзрастника превратиться. Приедем домой и будем, как эпилептики, дёргаться. А что ты смеёшься? Мне кажется, у них и колыбельных нет. Сама прикинь. То-олько малыш задремал, и вдруг над его ухом: “У-унь ё! Ти-и ю!” И он, как обезьяний детёныш (смотрела “Маугли”?), вскидывается, суча руками и ногами от страха. А объяснения в любви с такими воплями ты себе представляешь? Мне, когда их слушаю, всё время кажется, что они сейчас подерутся. Очень похоже на разборки соседей за стеной. И потом, такому крайне несимпатичному, мягко говоря, рылу ты бы, например, могла в любви объясниться? Да перестань ты хохотать, я совершенно серьёзно! Вот скажи, тебе хоть одно лицо в аэропорту приглянулось? Кроме, разумеется, стюардесс — как говорится, нет правил без исключений, из полутора-миллиардного населения уж сотню-то красавиц можно найти, да и те больше на метисок похожи. Вроде и красивые, а что-то кукольное в их лицах. И это, заметь, всего лишь беглое наблюдение. В их физиономиях совершенно нет очаровательных выражений, а только какие-то гримасы или маски, а то вообще, как деревенские дурачки, раззявят рты и пялятся. На тебя, кстати, в аэропорту многие таким образом пялились. Не обратила внимания? Ну, перестань, ну, ты же взрослая женщина...

И так они около получаса забавлялись.

Потом включили телевизор. Каналов, как и в России, была тьма, только, в отличие от российских — все государственные, а стало быть, допущенные цензурой. В Стране Советов этим прежде занималось КГБ. Передачи, спектакли, фильмы, книжки — всё проверялось “на вшивость”. В Китае, видимо, ещё строже. Поэтому не только “вшей”, но даже “гнид” ни в одной китайской передаче не оказалось. Артистки, как и стюардессы (все до одной красавицы), лишь отдалённо напоминали принадлежность к своей нации. И все со вставными зубами. Своих ровных, как у Жени, например, размышлял Евдокимов, тут, видимо, от сотворения мира не было, такими редкозубыми, похоже, они с самого начала были запланированы (для облегчения прохода воздуха при дыхании, видимо, а не для эстетики). Кто же знал, что у них появятся телевизоры? Ну, и пришлось подгонять под голливудский стандарт.

По Пекину, похоже, можно передвигаться совершенно спокойно, никакое женское лицо тебя не покорит. Опять же, любовная лирика, продолжал ехидничать Евдокимов, что-то ничего подобного он не слышал и ничего, кроме сборника китайских шедевров о бесправии бедных женщин под названием

“Шпицы”, не читал, а правильнее сказать, ничего из современной китайской литературы не читал вовсе. И всё-таки... Эля, например, когда возвращались после обеда, сказала, что юноша не имеет права жениться, пока не купит квартиру (а стало быть, ни о каком *рае с милым в шалаше* не могло быть и речи!), и что родившую незамужнюю девушку, если работает, тотчас увольняют и никуда не принимают на работу. За рождение второго ребёнка полагается штраф в пятьдесят тысяч юаней. Размер пресловутого материнского капитала в России, который не так-то легко было получить. Каких только препон не устраивают! Либо покупай жильё (а что на эти деньги купишь?), либо закладываяй фундамент будущего дома (а на какие шиши его строить?), а потом эту сумму тебе погасят. На руки же никоим образом не дадут. Чтобы не пропали. Молодые мамы в России все же алкоголички. Правда, с потерей тысяч в шестьдесят кое-кому удаётся выпаранать капитал, но махинации эти нередко разоблачаются и за проявленную инициативу дают ордена и медали. Судя по Элиным рассказам, нечто подобное было и у них, поскольку, даже если бы кто и захотел эти пятьдесят тысяч юаней заплатить, если это не простой смерд (а простой человек, получающий зарплату в две-две с половиной тысячи юаней, а многие и вообще, как сказала Эля, всего восемьсот, заплатить такую сумму просто не в состоянии), а, скажем, интеллигент, инженер, преподаватель вуза, чиновник (их зарплаты на несколько порядков выше), его бы тут же уволили с работы, как подающе-плохой пример.

Что относительно других передач, параллельно шли два сериала: один — про китайских императоров, второй — про Мао. Евдокимов посмотрел немного тот и другой. Разумеется, императоры были хуже, но всё-таки не до такой степени, чтобы их убивать вместе со всей семьёй, да ещё варварским способом уничтожать останки. А вот сериал про Мао чем-то удивительно напомнил Евдокимову выпущенный в 1949 году (после разоблачения культа личности снятый с проката, а недавно вновь показанный по телевизору) цветной двухсерийный фильм “Падение Берлина”. В этих шедеврах оба вождя не только успешно воевали и руководили, но и сажали деревья, и общались с простыми людьми. Сталин, например, — со сталеваром, которого играет знаменитый Андреев, а в последней сцене даже прилетает (хотя на самом деле этого не было) в столицу поверженного рейха всего лишь для того, чтобы, сказав то, что говорил по радио после победы, выслушать слова благодарности от ставшего солдатом сталевара и его сердечной подруги, а затем показать всему миру, какой же он всё-таки хороший, такой хороший, что и смотреть без слёз нельзя. И это выражено пронизательным, слегка прищуренным взглядом вождя мирового пролетариата, с улыбкой смотрящего в светлое будущее прогрессивного человечества. Таким же изображён и Мао. В окружении красных знамён, моря алых цветов, ликующих масс. Так и хочется грянуть вместе с хором: “Будет людям счастье! Счастье на века! У советской власти сила велика!”

Ни о культурной революции, ни о наложницах, которыми, кроме культа личности, когда дружба с Китаем закончилась, упрекали китайского лидера наши центральные газеты (какой же, мол, это коммунизм, это же какое-то Средневековье!), ни слова. Про китайских воробьёв тоже. В отличие от наших, например, они, вместо того чтобы клевать гусениц, выклёвывали посевы. Поэтому по призыву непогрешимого Мао их съели всех до одного. Евдокимов хорошо помнил документальные кадры, на которых бедных пташек толпы народа (в одной руке — палка, в другой — таз) гоняли по улицам до тех пор, пока обессиленные воробушки не падали замертво и их не увозили целыми грузовиками. Может быть, поэтому не только воробьёв, а вообще никаких птиц Евдокимов пока не заметил? Никакой живности вообще, ни кошек, ни собак беспризорных — ничего подобного на его глаза пока не попало. Ответ напрашивался один — съели. Ну, если у них имеются блюда из собак, змей, крокодилов, голубей, пауков, червяков... наших ручных голубей, кстати, вспомнил Евдокимов рассказ Эли, её китайские конкурники по иркутскому университету регулярно отлавливали и ели. Так что, когда китайцы нас завоюют, голубей у православных храмов уже не будет.

Переключая программы дальше, Евдокимов неожиданно наткнулся на китайский конкурс “Алло, мы ищем таланты!” Как и в России, просмотр вёл-ся в присутствии зрителей, только в жюри сидело всего двое — он, иногда со вкусом произносивший в конце очередного выступления: “И-и-йес!” — и она, понятно, красавица, всё время с ним соглашалась. И ничего бы особенного, кабы... Как заключённые в лагере, каждый новый претендент на роль будущей звезды выходил с табличкой на шее, на которой был написан номер: например, 400621. Евдокимов даже глазам не поверил.

— Вот это да! Похоже, у них это десятилетиями длится! Такое количество народу прослушать — это сколько же времени надо! А посмотри, как реагирует на это зал. Буря аплодисментов. А ещё говорят, у них не принято хлопать в ладоши.

— Почему?

— Ты разве не слышала, что Ирина рассказывала? Нет? Приехали, говорит, они первый раз сюда с концертом, народу полный зал, и все как один семечки лугают и прямо на пол скорлупу плюют. Говорит, чем больше намусорят, тем сильнее разобрало. Что относительно аплодисментов — ни одного хлопка. Пластиковыми бутылками на пластиковых палочках вместо аплодисментов гремят. Нет, конечно, могут и похлопать, но тогда уже семечки не ползгаешь, а без этого им, видимо, не в кайф, да и есть же, сама понимаешь, всё время хочется. Говорит, хлопают только по команде. Встаёт сбоку сцены человек, все как один на него, а не на то, что на сцене происходит, смотрят, и стоит ему подать знак, начинают хлопать. Прямо как в анекдоте, смеются не оттого, что смешно, а потому что сказали: “Можно!” Понятно, во всём этом есть доля иронии, но даже эти семечки не напоминают тебе наши деревенские посиделки? Сядут на лавку и весь вечер лугают, в том числе и в избах — только выметай.

— Такая забитая нация?

— Не забитая, а простая, да ещё вечно недоедающая, чему подтверждением иероглиф счастья. Не поверишь, это свинья под крышей — иначе, тёплый хлев!

— Да-а?

— Но и постулаты видения китайцами картины мира не лучше. Перед поездкой в интернете надыбал. Ну, например: грабь горящий дом. Или: смотри на пожар с другого берега. А вот это, на мой взгляд, вообще можно отнести к нынешнему китайскому экономическому чуду: умный придумает, а гений украдёт.

Позвонила Ирина и велела Жене бегом лететь на репетицию. “Ты что, забыла, что я тебе сказала? Эля тебя там целый час ждёт!” Евдокимов решил сходить тоже. И пока шли, опять поссорились. Оказывается, упрямица всё-таки решила петь “Сказку”.

— Да почему не “Коня”?

И тут Женья его убила:

— Мне не будет её петь хотеться.

— Что?

— Мне не будет её петь хотеться.

— Что называется, по-русски — “петь хотеться”! Ещё кому-нибудь не скажи, чурка ты этакая!

— Я не чурка.

— Ты хуже!

— А ты ничего не понимаешь...

— В твоей “Сказке”! — перехватил Евдокимов. — Как, впрочем, и китайцы совершенно ничегошеньки не поймут, а потому прошу тебя, нет, настаиваю, петь “Коня” или “То ли с неба ясного...”.

— И это же — на конкурсе?

— Тогда пой “Перстенёчек”. На сто процентов уверен, понравится. Ничего же подобного у них нет.

Насилу уговорил. И оказался прав. Даже на репетиции задорный “Перстенёчек”, картинка русских народных игр, на всех произвёл впечатление.

Кстати, тип гостиницы был таким же, как в Питере, — можно было ходить по коридорам кругами. Почти на каждом этаже — довольно солидный по размеру конференц-зал. В них и намечалось прослушивание по номинациям. Списки с очерёдно­стью выступлений обещали вывесить на дверях этих залов с утра, а кто на каком этаже выступает, сказали, объявят после торжественной части на собрании руководителей или когда все соберутся у фонтана.

\* \* \*

Ужинали в тесной столовой с китаизированным “шведским столом”, который оказался просто убогим. Кроме клёклого риса и сильно перчёных подливок неизвестно из каких земноводных, была разве что тонко настроганная, обжаренная в сухарях курица да серо-коричневая соломка, взяв которую Евдокимов просто измучился пластиковыми палочками есть. И так, и эдак наматывал — соскальзывает, и всё, пока, наконец, уборщица, с откровенным смехом простолоудинки за ним наблюдавшая, не принесла ему откуда-то вилку. И что бы не положить их рядом с палочками, подумал Евдокимов? Просто издевательство какое-то! Или в этом пятизвёздочном отеле не бывает русских, и они первые? Тогда откуда у них вилки? Или они только для ВИП-персон?

В конце трапезы неожиданно принесли тонко нарезанные арбузы, и все на них сразу налетели, но оказались они несладкими, как будто недозрелыми, и тем не менее их с жадностью поглощали все. Увидев это, официанты, следившие за трапезой, принесли ещё. И эти съели. Хлеба, кстати, ни в обед, ни в ужин не было.

— Теперь я понял, почему они такие поджарые, — рассуждал Евдокимов вслух, когда следом за инструментальным квартетом они с дочерью шли по коридору к лифту. — С такой пищи не растолстеешь. И это бы ладно — французская худоба теперь в моде, но тут немудрено одичать. Ещё немного, и я буду есть прямо руками.

Остановились у лифта. Таня спросила:

— Что будете пить? Если не секрет.

— Не секрет, а тайна.

И в эту минуту Евдокимов опять обменялся со Светой взглядом. Всего одно мгновение, но и того было достаточно. Их обоих как бы сковало. И теперь, как и он, Света специально старалась смотреть не на него, а на Таню или на Женю, но боковым зрением оба видели только друг друга. Остальные словно стали прозрачными.

Когда подошёл лифт, неторопливо в него вошли. Двери сомкнулись, плавно тронулся роскошный зеркальный лифт. Окружная зеркальность делала всех открытыми и закрытыми одновременно, поскольку, благодаря зеркалам, невозможно было понять, кто на кого смотрит, и можно было, не стесняясь чужого присутствия, смотреть друг другу в глаза, что они со Светой и делали. Раз, два, три — и лифт остановился. Евдокимовым выходить, остальным подниматься выше. При выходе Евдокимов постарался никого не задеть, а затем — не оглянуться.

В номере он с минуту рассматривал себя в зеркале ванной комнаты и, разумеется, в очередной раз не понимал, чем тут можно прельститься такой молодой симпатичной женщине. В том, что она была замужем, он не сомневался. Разве что внимания со стороны мужа ей недоставало. Или, может быть, он у неё был загульным, и она, как это часто бывает, мечтала ему при удобном случае отомстить? И вот, наконец, такой случай вдали (уж куда дальше?) от дома представился. И совершенно никакого контроля над тобой — подруги по ансамблю не в счёт, они всё прекрасно понимают, и человек, судя по обоюдной симпатии, подходящий подвернулся, правда, немолодой, но и не сказать, чтобы старый, разве у стариков бывают такие громкие голоса и бесстыжие глаза? “Но, может быть, хватит об этом?” — остановил себя Евдокимов. Зачем прежде времени накручивать? Хватило же силы воли взяться за ум в Питере, у школы, хватит и теперь.



Нагнетание атмосферы началось за полчаса до открытия конкурса.

Женя была внизу, Евдокимов с установленной на штатив камерой — на балконе. На груди у него висела ламинированная табличка с названием фестиваля, именем, фамилией, с цветной фотографией и красной печатью с пятиконечной звездой. С этими табличками велено было ходить и ездить всюду.

Начали ровно в 19:30, как и полагается, торжественно. Даже наверху оставили только дежурный свет, сияла во мраке одна сцена. Зачин сделал узбекский ансамбль. Затем под звуки фанфар вышли ведущие и, объявив по-китайски открытие конкурса, стали представлять почётных гостей и жюри. Это отняло уйму времени. Затем на сцену по одному стали подниматься представители власти и произносить речи. До того длинные и по манере произношения своеобразные, что можно было подумать, в этом только и заключался смысл их жизни. Всё это снимали и фотографировали. Сняли и сфотографировали Евдокимова — как представителя Российского телевидения. Потом молодой китаец покривлялся на сцене под “плюс” (заученно изобразил поющего человека). Песня была на китайском, но не китайская, а какая-то интернациональная, как объяснили Евдокимову, про море, солнце, ветер и про то, как хорошо на свете жить. Затем опять завели говорильню и утомили всех до невозможности.

Атмосфера становилась невыносимой, как вдруг выпустили Женю, и всё, как от дуновения свежего ветерка, в одно мгновение преобразилось. В белой блузке, укороченной юбке от красного расшивного сарафана, придававшего особенную стройность фигуре, в белых сапожках-казачок, с выпущенной на грудь косой Женя смотрелась настоящей русской красавицей. Лицо сияло радостью, озорно блестя глаза, очаровательная улыбка обнажала ровненькие зубки.

*Перстенёчек дорогой,  
Ненаглядный золотой,  
Светлой памятью любви  
В очи чёрные гляди.*

От каждого озорного возгласа на припевах хотелось пуститься в пляс. Да что там! Стоило ей запеть, как тотчас стал прихлопывать зал. А в конце разразился бурей аплодисментов.

— Bravo! — вместе с аплодисментами послышалось за спиной Евдокимова.

Он обернулся — и замер от неожиданности. Одетые в одинаковые длинные вечерние платья, за его спиной стояли Таня, Валя, Ксения и Света, причём Света смотрела так, как будто это он, а не его дочь, только что исполнил песню.

— И остальные песни такие же — имею в виду, в стиле фолк-рока? — спросила Таня.

— Ну, почему... Всякие есть: и гимны, и военные марши, и колыбельные, и даже романсы.

— Талантливая, видно, девочка.

— У девочки своей девочке четыре года.

— Нашим не меньше. Светиному так вообще двенадцать. Только у Ксении дочери года нет.

— И с кем оставила?

— С мамой.

Таня спросила:

— Одна у вас?

— Увы! И, как и я теперь, одинока... Ну, да это отношения к делу не имеет. А вы на посиделки так нарядились?

— Ну, что вы! Это наши концертные костюмы. Надели, чтобы сфотографироваться. Фотографировать же всех вместе будут. А завтра (сегодня

уже не будем, и так затынулось), как вы изволили выразиться, на посиделках что-нибудь исполним. В самом деле, нравится?

— Да-а! И очень, кстати, вам идёт. Обратите внимание, как на вас китайцы смотрят.

— Мы заметили. Особенно на Свету. Она одна из нас светленькая да синеглазая, да ещё с такой длинной косой! Настоящая Алёнушка! Не находите?

— Ещё бы! Даже влюбиться хочется!

Все мило улыбнулись, и Таня сказала:

— Ну, это никому не возбраняется.

— Правда? Учту.

Ответом был дружный смех.

— Ну вот, кажется, и конец, — подытожила Таня. — Идёте фотографироваться?

— Не могу, я на работе.

Фотографировались сидя и стоя во всю ширину ступенек и сцены, а двое ребят из узбекского ансамбля даже посадили своих девчат на плечи. Женя оказалась вверху, между струнным квартетом, в окружении узбекского ансамбля, и на фоне стильных вечерних платьев и ярких национальных костюмов гармонично смотрелись её белая блузка и выпущенная на грудь коса.

\* \* \*

На посиделки Женя переделалась в короткое платье, распустила косу и сразу стала похожа на девочку. Евдокимов даже снимал её для будущих клипов на фоне стеклянного входа, у карликовых пальм.

Шёл десятый час, и, если бы не гирлянды лампочек, обрамлявших кафе у фонтана, тьма была бы просто кромешной. Если и опустилась температура, то буквально до тридцати градусов. Разве что невидимое солнце не давило. Не веяло прохладой и от бьющих строго вверх, подсвеченных с боков разноцветными огнями струй прямоугольного фонтана, обложенного белым мрамором и состоявшего из таких же мраморных, в виде газетного ребуса, тропинок. За пределами кафе буквально в нескольких шагах ничего не видеть, лишь на фасаде пятизвёздочного отеля драконьей премудростью вызывающе горели китайские письма да едва желтели окрашенные тусклым светом дежурных фонарей стёкла вестибюля.

Ввиду позднего часа, дорожной усталости, затянувшейся торжественной части к фонтану вышли не все. Узбекского ансамбля не было вообще, потому что их поселили в другом отеле, зато, кроме инструментального квартета, успевшего переодеться в лёгкие светлые платья, за соседним столом рядом с хмурой Ириной, деловито шелестевшей судьбоносными бумагами, сидела Эля, а за её спиной, с фотоаппаратом на груди, стоял высокий симпатичный китаец лет сорока по фамилии Ли, который рядом с Евдокимовым фотографировал церемонию. Ли сносно говорил по-русски. Как представители похожего жанра, они тут же сошлись, особенно после того, как Евдокимов произнёс вгрученную перед поездкой волшебную фразу: “Мао чжу-си Вань-суй”, — на что Ли, внимательно на него глянув и, видимо, никакого подвоха или скрытой иронии ни в его улыбке, ни в интонации голоса не обнаружив, тепло улыбнулся сам и ответил наполовину по-русски:

— Да, действительно — Вань-суй!

— Ли, наверное, учился в России? — поинтересовался Евдокимов, когда они оказались за одним столом.

Принесли пива. Кружки были из оргстекла, лёгкие, необычные, как, впрочем, и само пиво на вкус, как будто разбавленное дистиллированной водой.

— Нет. Но я десять лет был, когда постановил цель учить русский язык. Я двадцать лет читал русский книги.

— Двадцать лет — большой срок. За это время у вас произошли большие перемены.

— У вас тоже.

- У нас, как и всегда, через пень-колоду.
- Русский пословица? Я пословица знаю мало. Что это значит?
- Хреново.
- Хреново — знаю! Значит, плохо, да? Но почему? Эля без ума от

Путина.

И Эля, услышав знакомую фамилию, сразу выдала:

— Пу-утин — о-о! Самый люпи-имый!

— Он тебе нравится как мужчина или как президент? — поинтересовался Евдокимов.

— Мущина? Та-а! И пириситент!

— Такая безответная любовь, — заключил Евдокимов.

Ли улыбнулся, а Эля, покопавшись в закромах памяти, подтвердила:

— Та-а, такой писопитный лопоф!

Тут уже и за соседними столиками послышались смешки.

Ли повторил свой вопрос:

— Так почему — плохо?

— Чем больше изучаю историю наших государств, тем больше прихожу к выводу, что только у нас, а с начала революции особенно, правительство ведёт планомерную войну со своим народом.

— И сейчас?

— Всегда.

— Но раньше ты не мог ехать Китай, а теперь можешь ехать куда хочешь, хоть Америка.

— Только для этого надо было пожертвовать горстке олигархов природные богатства, заводы, фабрики, разрушить военную промышленность, армию (правда, сейчас взялись за её восстановление), загубить сельское хозяйство (ты не представляешь, сколько у нас заброшенных полей) и много чего ещё, чтобы, наконец, под лозунгом демократических свобод поставить народ на грань выживания. Процветает у нас только крупный бизнес да банкиры. Среднего нет вообще. Малый под видом государственной поддержки планомерно уничтожается. Да что там! В настоящее время у нас небольшому проценту населения принадлежит девяносто процентов всех богатств. А ты говоришь — перемены!

— Мы сюда приехали не для того, чтобы говорить о политике, — не отрываясь от бумаг, заметила Ирина.

— Понятно, Ли? Мы, оказывается, приехали сюда не для этого. Благодаря за напоминание, гражданин начальник. Позвольте узнать, в каком вы звании?

— Но это же, в конце концов, никому не интересно!

— Тебе не интересно, Ли?

— Интересно.

— Ну, и валите за другой стол, а нас избавьте от вашей долбаной политики!

— Ли, не будем дамам портить вечер. Я думаю, у нас ещё будет время поговорить.

— Та-а, портить ни ната! — подхватила Эля.

— А может, идём другой стол? Вон их сколько, никто не сидит, — возразил Ли.

— *Прошу отметить*, — обратился Евдокимов к Ирине, — *не я это предложил*.

Ирина фыркнула, а они с Ли со своими кружками пива направились за другой столик. Жёня осталась на месте. Света проводила Евдокимова внимательным взглядом. И он чуть было не ляпнул на ходу: “Не желаете присоединиться?” Но тут же себя осадил: “Что-то вы, дорогой товарищ, раздухарились. Не с пива ли?” И специально сел так, чтобы предмет соблазна остался позади, как бы давая этим понять, что они люди серьёзные.

— Ли, а что ты о нас знаешь вообще?

— Я знаю, что вы начал стоять на но-оги, и эта один даёт надежда, другой боится.

— А ты как на это смотришь?

— Надежда.

— Спасибо. Только у меня по этому поводу большие сомнения. И потом, нас уже столько раз обводили вокруг пальца. Достаточно вспомнить перестроечный бардак и время ельцинского правления, когда нас обирали самым наглым образом. Мне почему-то кажется, что и на этот раз всё может оказаться очередным спектаклем, хотя и питаю надежду на лучшее. А вообще, у нас теперь только ленивые не говорят, что надо было идти по вашему пути, и вас в пример ставят. Локомотив мировой экономики! Только что-то настораживает меня этот ваш локомотив.

— Меня тоже.

— Вот как! Почему?

Ли опасливо оглянулся и заговорил на пониженных тонах:

— Такой торговли детьми, как у нас, нет больше ни одна страна. Знаешь, сколько стоит девочка, а сколько стоит мальчик чёрный рынка? Мальчик пять, шесть тысяч юаней, девочка — пятьсот. Продают родители большой ну-ужда. Продают в ра-абы. Которых нет в книге записи детей продают. Знаешь, сколько народ, больше женщин, живёт в сельской местности без регистрация?

— А почему без регистрации?

— Потому что все хочет родить мальчик, наследник, а родить девочка. Тогда председатель совета посёлка берёт взятка, и девочка жить без регистрация. Это норма, который знает все, а делает вид, что не знает, потому что все берёт взятка. Девочка — это плохо для семья. Девочка это понимает. Если у неё есть паспорт, она едет город работать на фабрика за очень маленький зарплата. Или работает проститутка. Часто прямо в посёлок приезжает мафия уговаривать стать проститутка. Даже замужние женщины соглашаются, чтобы жить. Можно делать аборт. У нас запрещено говорить, кто будет, когда глядят у-узи. Но все даёт взятка, и всем говорят, кто будет. А когда один, два, три аборт, может никто не родить. А дети надо. И тогда родит и не записывает, чтобы не пла-атить штраф. Он большой. Можно целый жизнь пла-атить. Столько деньги сельский местность никогда не заработать, чтобы можно пла-атить штраф. Лучше не родит или не записывать. Это меньше деньги. У-узи врач или взятка председатель. И не записывает. И не родит. Даже по триста или пятьсот юаней на тысяча семья в сиретнем посёлок, триста или пятьсот тысяч юаней взятка врач или председатель получает. Врач меньше. Председатель больше. А в каких условиях живут? Как несколько ве-эков назад. Раньше так не был. Нет, и раньше так был. Но тогда все жил одинаково. А теперь один, который меньше, как ца-ари живут, а другой, который больше, как ра-абы нескалька ве-эков назад.

— Странно. А я в интернете наткнулся на одну деревню, в которой даже гостиница высотой с небоскрёб и такие шикарные двухэтажные коттеджи у всех, по две, три машины у подъезда, солидные счета в банке.

— Всего один такой деревня на весь страна. А больше живёт бедно. Бедных очень много, богатых очень мало. Как думаешь, почему стал казаться сериал Мао?

— Почему?

— Спроси любой бедный китайца, он тебе скажет: я верю, что станет справедливо.

— Ты это про что?

— Думай.

— Неужели опять всё отберёте и поделите?

— Я не знаю, как это будет, но это будет. В это верит много люди. Иначе в один день локомотив на большой скорость па-адет с рельсы, и тогда всем будет плохо.

— Я об этом думал. Я перед поездкой к вам столько материала о вас перелопатил. Перелопатить — значит, как можно больше и внимательнее прочитать, докапываясь до истины, как во время судебного следствия — копаешь и копаешь.

— Я запомню. Взял лопата и копать. И что пе-ре-ло-па-тил?

— Надо говорить: нарыл.

— Почему?

— Особенности русского языка.

— А-а... И что на-рыл?

— Много чего, а такое впечатление, что ничего.

— Как?

— Да так. Я думаю, и у вас о нас не больше понимания, чем у нас о вас. Я не о менталитете, Ли, а так сказать, о загадочной русской душе.

— Загадочный русский душа — это что значит?

— Как тебе сказать... Если в двух словах, это чрезмерная склонность к созерцательности. Ничего общего с фантазией, Ли, не думай. Достоевский (читал, поди?) это объясняет таким эпизодом. Идёт русский мужик лесом, вдруг остановится и смотрит на вершину сосны. Час смотрит, два смотрит. А потом пойдёт и родную деревню сожжёт.

— Его за это поймать и казнить?

— А он куда и не убежит. Во всё время пожара будет стоять и глядеть на горящую деревню с таким же вниманием, как недавно на сосну, а потом пойдёт и при всём народе скажет: мой грех, прошу предать смерти.

— У вас много таких?

— Зачем много? На деревню, например, и одного достаточно. В городах, само собой, побольше. Так что, когда вы построите свой коммунизм, нас за стол не зовите.

— Почему?

— Среди нас обязательно найдётся такой, что во время торжества на себя скатерть потянет, и всё торжество вам испортит, как уверяет тот же Достоевский.

— Да-а? Это потому, что такой загадочный русский душа?

— Совершенно верно. Только проявляется это у всех по-разному. У Бунина, например, есть рассказ, в котором описывается, как один купец, почтенный семейный человек, член разных благотворительных обществ, прилежным трудом и бережливостью скопивший большой капитал, однажды пошёл вразнос. Пойти вразнос — значит, пить напропалую день, два, три, неделю. И вот в один из таких чумных дней он несётся по пыльной дороге на тройке взмыленных лошадей. Сам ими, стоя, правит. Проносится мимо того, от чьего имени ведётся рассказ. А тот пешком шёл. Понятно, был сильно удивлён. Что за притча? Идёт дальше. Примерно через полторы версты смотрит, стоит на обочине бричка, а в бричке тот самый купец рыдает. Он к нему, тормозит, спрашивает: что случилось? Купец поднимает голову и, глядя полными слёз глазами, говорит: “Э-х, ба-арин, журавли-и улете-эли”.

— Куда?

— На юг.

— И что?

— Ничего. Они улетели, а ему от этого грустно, и он за неделю прокутил половину состояния.

— Да-а? И много у вас такие?

— Хватает... Ли, скажи: я прав? Даже если у китайца есть деньги в за-начке и его об этом спросят, он обязательно скажет, что у него ничего нет. Так?

— Так.

— И никогда последнее не пропьёт. Верно?

— Да.

— А у нас легко спустит до копейки. Будет копить, копить, а потом вдруг его переключит, и он за несколько дней всё пропьёт. Всю пьянь, всех бомжей со всей округи соберёт и с ними всё просядет. У нас большинство не то чтобы не умеют, а просто не желают копить. Им это не интересно. У нас и причины массового героизма с вами разные. Я читал. У вас во время вьетнамской войны солдаты предпочитали смерть позору перед людьми. У нас такого позора не боятся. В нашем массовом героизме преобладает стихия. Словно что-то подхватывает и несёт, как ураганом, понимаешь? Всё, что там заливают про идеологию, ерунда. Ни за какого Сталина у нас никто и никогда в атаку не ходил и не умирал. Кричать кричали, но это так, чтобы от

других не отличаться... Ближе всех, на мой взгляд, к пониманию этого подошёл Пушкин (читал, поди?). Он пишет: "Есть упоение в бою..." Упоение — что-то вроде адреналина, Ли. И дальше: "Итак, — хвала тебе, чума, // Нам не страшна могилы тьма, // Нас не смутит твоё призванье!.." Иными словами, чем хуже — тем лучше. Эта подсознательная вера в бессмертие души в нас, видимо, так глубоко сидит, как, может быть, ни в каком другом народе. Не знаю только, хорошо это или плохо. Но есть и другая сторона медали. О ней с беспощадной точностью написал Достоевский. Он сказал, что русский человек без веры — дрянь. И это доказала практически вся наша новейшая история. Особенно во времена пресловутой классовой борьбы, репрессий, как у вас во времена культурной революции, когда даже дети на родителей обязаны были доносить... И получается по пословице: хрен редьки не слаще. Имею в виду классовую борьбу и нынешний либерализм американского пошиба, да и ваш теперешний НЭП. Ленина же вы, в том числе, и за это чтите...

А вообще о Китае Евдокимов мог рассуждать часами, но, как уже было сказано, это не приближало к пониманию. Он делал выписки, пытался их систематизировать, ничего путного из этого не выходило. Получалась сумма знаний, под которой невозможно было подвести итог. А может, этого и не стоило делать, иногда думал он? И потом, что значит — подвести итог, сделать вывод? Сколько их подводили, сколько делали выводов, и что?

К сожалению, вздыхал Евдокимов, непредсказуемость не делает Россию надёжным партнёром для Китая. И, тем не менее, Китай заинтересован в экономическом подъёме России, поскольку ещё не дорос до того, чтобы сказать своё слово миру. Сейчас Россия воспринимается Китаем не как старший брат, как это было при Сталине, а как старшая сестра, которой оказывается почтение, но решение принимается без её участия.

— И всё-таки, Ли, у нас много общего! — продолжал Евдокимов. — Вы, как и мы, многонациональное государство. Ни вы, ни мы никогда бы не пошли на то, что сделали в своё время США с коренным населением лишь потому, что оно не пожелало быть рабами. У нас с вами очень близкие понятия не только о справедливости, но и о чести, и о супружеской верности, о любви к детям и ответной любви детей к родителям. Я тут в интернете один документальный фильм про жизнь вашей деревни видел. Муж, находясь на заработках в городе, изменил жене. У них ребёнок. Она ему не простила, Ли, не согласилась, когда он предложил жить на две семьи. То же самое у нас. Душа так устроена. А самое главное, Ли, вы, как и мы, слишком большая и оригинальная величина, чтобы стать зеркальным отражением кого бы и чего бы то ни было... И ещё, на мой взгляд, не менее важное из того, что нас сближает. Один мой знакомый, ещё до перестройки, увлёкся ушу. И когда в начале перестройки у него по линии комсомола появилась возможность, он поехал в Китай в поисках мастера. Если бы это не с моим другом было, Ли, я бы ни за что не поверил. Он улетел с пятнадцатью долларами в кармане. Такой поступок, кстати, тоже надо отнести к нашему менталитету, мы на этот счёт ребята отчаянные. Адресок, правда, какой-то всё же имелся. Прилетает в Пекин, приходит по этому адресу, а там уже давно никого нет. Кругом, как он мне сказал, одни "хутуны" — грязные переулки. Сейчас их вроде бы нет. Показали ему гостиницу, в которой можно было остановиться за гроши, сказали: постараемся найти тех, кто по этому адресу жил. И что бы ты думал, Ли? Буквально на другой день на пороге появляются натуральные гангстеры из боевиков, лица в шрамах, однако вежливые. Они переселяют моего приятеля в приличную гостиницу, просят подождать. А дня через два к нему приходит наставник по тому же стилю и говорит, что знает этого мастера, но он теперь в другом городе. И с этого момента, Ли, начинается китайское чудо. Моего приятеля перевозят с места на место за счёт школы, он занимается, и так целых два месяца. Это сработало, считает он, потому, что иностранцы тогда были в диковинку, а иностранцы с китайским языком — тем более, а он китайским неплохо владел. Да ещё оказался первым иностранцем, который не требовал, чтобы его научили "смертельным касаниям". Такого до него, оказывается, не бывало. Когда он ехал на

поезде в школу, на остановах к нему подошли китайцы (а найти его было несложно по внешности) и говорили: я из такой-то школы, и приносили небольшую коробку с едой: булочки, рис. Так они передавали его с рук на руки, и он вернулся в Россию с теми же пятнадцатью долларами, не потратив ни копейки, Ли, представляешь! Такого Китая, правда, теперь уже нет, уверяет он, и всё-таки как это на нас похоже!.. Ли, скажи, — наконец решился Евдокимов спросить о том, что ему больше всего казалось непонятным, — ты слышал что-нибудь про архив Берии? Я недавно ваш мультфильм на эту тему в интернете видел, “Вперёд, товарищи” называется. Случайно не смотрел?

— Смотрел.

— И что по этому поводу думаешь?

— Это о крушении СССР. О том, как вы нас предали.

— Это понятно, Ли. И потом, кого мы не предали? Я другого понять не могу. Почему в фильме фигурирует имя Берии и сделан намёк на то, что его бесследно исчезнувший архив якобы находится в Китае? Некоторые считают, что этого архива бояться не только у нас, но и в США, и в Европе, и только не бояться у вас? И как ты думаешь, почему?

— Потому что мы на правильном пути, а вы ещё не выбрали, и те, кто этого не хочет, боится, а с ними боится тот, на кого они работают за большой деньги, чтобы погубить вашу страну.

— Это понятно, Ли. Но, видимо, есть что-то ещё. Кое-кто, например, утверждает, что расстрелом Белого дома в девяносто третьем году завершился начатый двадцать шестого июня пятьдесят третьего года переворот. Двадцать шестого июня, по одной из версий, на своей московской квартире, без суда и следствия был убит Берия, а суд потом инсценирован. Я этим заинтересовался. И кроме статей, трёх документальных фильмов, посмотрел ещё два сериала на эту тему. И получается, для одних Берия — злодей, для других — талантливый управленец и чуть ли не продолжатель правого дела Сталина.

— Я это читал. Надо доказательства.

— Какие? Ли, сам подумай, какие в таком деле могут быть доказательства? И тем не менее, они есть, их немного, да, по мне, и того вполне достаточно. Во всяком случае, лично у меня и тени сомнения нет, что двадцать шестого июня пятьдесят третьего года, а точнее — накануне того рокового дня... Одним из свидетелей последствий вооружённого нападения на дом Берии, Ли, был его сын Серго, прибывший на место с генералом Ванниковым. От предложения бежать за границу Серго отказался, поскольку не мог бросить тень на отца, и полтора года провёл в одиночной камере. К нему приходил Маленков, пытаюсь выяснить, где находится тот самый архив, о котором был сделан намёк в вашем мультфильме. Серго на это с недоумением заявил: “Неужели вы полагаете, что отец мог доверить мне такую секретную информацию?” Всё это, Ли, вовсе не означает, что плохие парни порешили хороших. Все, кто принимал в этом участие, сами были жертвами той бесчеловечной машины (имеется в виду “классовая ненависть”, а не “классовая борьба” или “охота на ведьм”, что одно и то же), которая не может работать без пролития крови, искусственно подогреваемой ненависти и подавления всякого инакомыслия. Как только перестали лить кровь, машина сразу забуксовала. На одних лозунгах и сознании трудящихся далеко не уедешь. И потом, если, как у нас тогда пели, “я, ты, он, она — вместе дружная семья”, о какой “классовой борьбе” может идти речь? И хотя некоторые уверяют, что иначе было нельзя, время было такое, дело не во времени, Ли, а в том, что “классовая борьба” из той же бесчеловечной категории: разделий и властвуй. Но разве такими методами может быть установлен и гармонично развиваться строй, о котором с таким энтузиазмом когда-то пели: “Я другой такой страны не знаю, // где так вольно дышит человек”? Достоевский, например, считал, что нет. И, хотя утверждал также, что “не может одна малая часть человечества владеть всем остальным человечеством как рабом”, в то же время не признавал насилия над личностью ради того, чтобы, наконец, осчастливить это самое человечество. И я это мнение разделяю. И всё-таки Сталину надо отдать должное

уже за одно то, что он следом за Лениным отказался от безумной идеи мировой революции, на которой настаивал Троцкий со своими единомышленниками и в которой России отводилась роль хвоста, и взял курс на построение социализма в одной стране, основополагающие идеи которого были изложены им в работе “Экономические проблемы социализма в СССР”... Увы, не получилось! 26 июня 1953 года власть в стране перехватили те, кто в 1993-м развалил страну, в результате чего образовалось далеко не социальное, как записано в нашей Конституции, государство, на котором вот уже более двадцати пяти лет паразитирует “тимуровская команда”. Кстати, после смерти Сталина один из бывших партийных работников сказал потрясающие слова, которые на многое открывают глаза. Он сказал, Ли: “Сталин призывал нас жить по совести, а мы смотрели только, как бы кого спихнуть”. Это говорит о том, что большинство к жизни по совести было не способно.

Все уже дано разошлись. И Женя ушла вместе со всеми. И когда выключили фонтан и погасили освещавшие кафе гирлянды, наступила такая тишина, а Евдокимова с Ли объяла такая тьма, которая была разве только перед первым днём творения. На небе ни звезды. Его как будто и не было, этого неба. И только рубиновыми огнями горели на слившемся с небом фасаде пятизвёздочного отеля китайские письмена.

Наконец поднялись и Евдокимов с Ли, молча пожали друг другу руки и разошлись.

\* \* \*

К завтраку Евдокимов вышел, как варёная курица. И ладно если бы в освежительную прохладу раннего утра, а то наоборот: из прохлады — в баню. Шведский стол на этот раз устроили в холле, где вчера было открытие конкурса, расставив вокруг круглых столов, покрытых белыми скатертями, зачехлённые кумачом стулья, перед сценой разместили стойки с едой. В отличие от ужина, на завтрак был подан тонко нарезанный из круглых караваев пшеничный хлеб, но, сколько Евдокимов ни смотрел, так и не смог обнаружить сливочного масла. Имелось только клубничное варенье, и многие китайцы намазывали его на хлеб, которым покрывали небольшие пиалы с молоком — в отличие от грандиозных сооружений и посуда, и порции были миниатюрными. При виде молока Евдокимов даже обрадовался. Было оно горячим, но без пенки. Он налил в пиалу, положив сверху четыре склеенных между собой вареньем по два куса хлеба — наконец-то душеньку отведёт! Но молоко оказалось какою-то безвкусной жидкостью, может быть, разведённой соевой мукой или уж очень обезжиренным. Насилу выпил. Затем опять помучился с вермишелью (на этот раз вилку никто не предложил), обглодал какие-то косточки (возможно, утиные), съел пару кусков несладкого арбуза и следом за дочерью поднялся. Женя вообще скушала полкуса хлеба с долькой арбуза.

— С такой пищи немного напоёшь, — заметил Евдокимов.

— Зато мне кажется, я уже похудела.

— А через три дня будешь говорить, дошла.

И тут появился квартет. Лица у всех четверых были сонные, волосы прибраны кое-как, движения вялые, но от этой домашней растрёпанности на Евдокимова неожиданно пахло притягательностью супружеской постели.

Остановились.

— На каком этаже выступаете? — спросила Таня.

Евдокимов ответил:

— На третьем. А вы?

— На первом. Списки уже вывесили. Мы выступаем восемнадцатыми и сорок пятими. До вечера, видимо, сидеть придётся.

— Сразу по два номера? Говорили же — по одному!

— Китайцы опять всё переиначили. За один день решили прогнать всех. Завтра отдых. Послезавтра перед гала-концертом объявление результатов и награждение.



— Ничего себе новости! Ну что — удачи!

— И вам.

И разошлись. Разговаривая с Таней, Евдокимов специально старался не смотреть на Свету, но именно оттого что не смотрел, то грозное и влекущее, что началось между ними вчера, лишь усугубилось. Когда симпатизирующие друг другу люди постоянно общаются, как правило, стирается первая острота обоюдного влечения, но если на пути поставить плотину, вряд ли она устоит. Нечто похожее происходило с ними. Чем упорнее они старались не смотреть друг на друга, тем сильнее их друг к другу влекло. А может, это китайский климат, благоприятствующий размножению, на обоих так одурманивающе действовал. Как бы то ни было, а спокойствия в душе Евдокимова после встречи не осталось и следа. И всё вставал перед глазами образ очаровательной синеокой блондинки, на которую вчера с таким откровенным восхищением глазели китайцы.

Евдокимов себя и укорял, и осуждал, но всё напрасно. Да ведь ничего ещё и не произошло, оправдывал он себя, и скорее всего, ничего не будет, и потом, что такого предосудительного в том, что они понравились друг другу? И было лишь одно маленькое “но”. И оно уже не первый раз перед ним встало. Вся разница лишь в том, что раньше была как бы недостаточно удобная ситуация, теперь более удобного случая, казалось, и придумать нельзя. И если тех молоденьких девчат влекло к нему обыкновенное любопытство, теперь совсем иное — перед ним оказалась прекрасно всё понимающая молодая женщина.

Между тем они поднялись с Женей на третий этаж. Их номера оказались 37-м и 51-м.

Но вот чего они никак не ожидали, так это того, что прослушивание делают закрытым. По этому поводу сразу поползли слухи, что-де китайцы хотят протачить на первые места своих, поскольку жюри состояло из них. Ирина даже сказала: “Всё! Золота не ждите!”

— Именно поэтому ты должна выложиться на полную, — сказал Евдокимов Жене, когда они вошли в номер. — Это хорошо, что выступаешь не с утра, когда ещё не проснулся голос. Ложись и лежи. Внутренне настройся. В том числе и на победу. Нужно как можно больше сохранить сил для выступления.

— Я не могу лежать, я уже сейчас, как на взводе.

— А я говорю — лежи. Я буду следить за очередью.

Женя недовольно огрызнулась:

— Лежи, лежи...

И в знак протеста закрылась в душевой.

— Через десять минут приду, и чтобы была в постели! — крикнул ей вслед Евдокимов. — Пойду посмотрю аппаратуру и спрошу, будет ли репетиция.

Но спросить было не у кого, установкой аппаратуры занимались китайцы. И тогда Евдокимов поднялся на пятый этаж, где расположилось руководство.

— Какая репетиция — столько народу! — вытаращила на него бешеные глаза Ирина. — Вы профессионалы или кто?

— А если — “или кто”, что тогда?

— Тогда нечего было сюда приезжать!

— Я смотрю, вы с китайцами заодно.

— Мы просто живём рядом, а значит, лучше друг друга понимаем. Для нас, для всей Сибири и Дальнего Востока, вы все там с вашей долбаной политикой хуже китайцев. Благодаря им да японцам мы теперь только и живём, а вы мало того, что отняли у нас всё, все привилегии, все надбавки, но ещё и последней возможности существования пытаетесь лишить.

— Это я пытаюсь лишить?

— И вы в том числе!

— Ну, спасибо!

И они “расстались друзьями”.

Сказать, что Евдокимов волновался, значит, ничего не сказать. Он поднимался на лифте наверх, подходил к истомившейся от жары и ожидания

толпе, спрашивал, какой номер ушёл, прикидывал в уме и возвращался назад. Дочь всякий раз встречала его испуганным взглядом, Евдокимов отвечал: “Ещё только двадцатый, стало быть, минут сорок ещё”, — и тогда дочь оставалась в постели. Но когда пришёл в очередной раз, она была уже в полном облачении.

— Ещё минут двадцать.

— Я уже не могу, я лучше туда пойду.

— В сарафане? Ты же спаришься!

— Но я не могу тут больше сидеть!

И тогда они пошли. Он — с установленной на штатив камерой на плече.

Выступившие на вопрос: “Ну, как?” — глядели отсутствующим взглядом и пожимали плечами. И это ещё больше придавало волнения. Стоявшая у двери на страже китайская девица не позволяла приоткрывать дверь, чтобы хотя бы краем уха послушать, а звукоизоляция оказалась на высоте, слышно было только содрогание от низких звуков и отдалённый бой ударника.

Наконец запустили их с Женей. Пускали по двое, по трою. Евдокимов тут же сориентировался, где лучше встать с камерой.

Чего он никак не ожидал, “Сказка” даже его задела. Задела той абсолютно точно переданной жутью, с которой, подобно древней ведунье, Жёня ворожила над книгой судьбы. И всё остальное исполнила без единой запинки. Жюри смотрело не отрываясь. Особенно, когда, подняв над головой раскрытую книгу, Жёня медленно её закрыла, а затем опустила вниз.

— Ну, как? — спросили их, когда они вышли.

— Не знаю... Хотя... в какую-то минуту мне показалось, что жюри стало моим зрителем.

Они уже собирались уйти, когда вышедшая из двери Ирина сказала:

— Жёня, если желаешь, через двадцать минут можешь исполнить второй номер.

— А может, так и лучше, а то перегоришь, — сказал Евдокимов.

И они дали согласие, сказав, что сейчас переоденутся и придут.

Второй костюм состоял из всего ослепительно белого — комбинезона, сапог, длинных перчаток, расшитой золотом накидки.

Когда Жёня появилась в нём наверху, все ахнули. Обратило внимание и жюри. И сидевший с правого края китаец что-то спросил у стоящей рядом с ним со списком и микрофоном в руках Эли. Эля утвердительно кивнула.

Выступление прошло на одном дыхании и гармонично завершилось торжественным аккордом.

Аплодировать было некому. На этот раз следом за ними вышла Эля и протянула Евдокимову визитку.

— Эта исвесный вы Китай паратюсар, каторый работает са Расией.

Визитка была с одной стороны — на китайском, с другой — на русском. Евдокимов сразу всё понял и, достав из кармана свою визитку, попросил Элю передать продюсеру.

Когда оказались в номере, Жёня заявила:

— Хочу выпить.

— Давай повременим до объявления результатов.

Но она упрямо повторила:

— А я хочу!

Пришлось открывать бутылку коньяка и разливать по чайным чашкам. Выпили, зажевав шоколадными конфетами, которые по приезде засунули в холодильник. Кстати, конфет, вообще сладостей за китайским “шведским столом” не было тоже.

— Как думаешь, что мне дадут?

— Десять лет без права переписки.

— Нет, правда.

— Ты же слышала: золото возьмут китайцы. Они, кстати, и на Олимпиаде почти всё золото забрали. И вообще, всё. Говорят, куда ни сунутся с бизнесом, в любом конце планеты одни китайцы сидят.

До обеда оставалось совсем немного. Кроме кудрявого супа, который китайцы пили прямо из пиал, поскольку ложек тоже не было, да игрушечных

пашлыков, он ничем не отличался от вчерашнего. Они с Женей вяло поклевали и убрались отдыхать. И, неожиданно уснув, проспали до вечера. Вернее, узнали, что уже вечер, то есть что пора идти на ужин, опять же по стукну в дверь.

— Ужинать! — послышался знакомый голос.

Насилу поднялись. Так их обоих, даже несмотря на комфортную температуру, развезло. Не с коньяка ли?

\* \* \*

Весь следующий день их таскали по экскурсиям. Евдокимова так развезло от жары, что по возвращении в номер он принял душ и завалился спать и как убитый проспал не только ужин, но и всё на свете.

Очнулся глубокой ночью от пения “китайского соловья”. И часа два лежал без сна, досадуя и на “соловья”, и на себя, и на дочь, смутно припоминая, однако, что несколько раз она всё-таки пыталась его разбудить, хотя прекрасно понимал, что надо же было когда-то организму взять своё и хорошенько выспаться. Завтра, вернее, уже сегодня — объявление результатов и гала-концерт. Сказать, что Евдокимов вынял совету Ирины и ни на что не надеялся, конечно, нельзя. Как ни крути, а Женино выступление было великолепным. И подаренная китайским продюсером визитка должна же что-то означать. Поэтому хотя бы на второе, в худшем случае, на третье место Евдокимов всё же рассчитывал, ни слова не сказав при этом, а также о визитке, Жене. Пусть для неё это будет сюрпризом. Она ни на что не надеется, а ей возьмут и дадут. И покажут по китайскому телевидению. И, может быть, даже предложат турне по Китаю. И тогда у Евдокимова будет больше возможности понять, что из себя представляет эта загадочная страна.

\* \* \*

До начала заключительного мероприятия оставалось полтора часа. И когда вошли в зал, там уже полным ходом шла подготовка. На месте задника установили огромнейшего размера монитор, по бокам невысокой сцены — аппаратуру, две световые пушки на высоких постаментках в конце зала. Перед сценой поставили накрытые кумачом столы для жюри. Вперемешку со звучанием фонограммы в зале было слышно непрерывное говорение, кто-то время от времени под сопровождение пытался петь, туда и сюда сновала с озабоченными лицами обслуга, прокладывали через весь зал к центральной камере шнуры, кричали, спорили, составляли предполагаемую программу, кто что, если повезёт, будет петь. Они с Женей решили всё-таки повторить есенинского “Коня”, хотя Ирина категорически настаивала на чём-нибудь патристическом.

— “Не слышны в саду даже шорохи”, что ли, или “Расцветали яблони и груши”?

— И что?

— А то, что мы приехали сюда петь свои, а не чужие песни.

— Это “Подмосковные вечера” и “Катюша” для вас чужие песни?

— Та-а! Отшэнь! Ми па-аём толика на сываём ратыном ясыкье!

Стоявшая рядом Эля засмеялась. А Ирина, водевильно закатив глаза, протянула:

— Кошма-ар!

Так ни до чего и не договорились. И когда подошло время, все ушли переодеваться.

И на этот раз снимали. И опять несчётное количество раз с каким-то издевательством было произнесено приглянувшееся китайцам всего лишь единственное, но очень распространённое в России нецензурное слово на букву “х”. Всё это безобразие снимали три китайских оператора. Ли время от времени фотографировал. Евдокимов вместе с залом томился в ожидании,

как вдруг сначала по-китайски, а потом Элиным голосом объявили, что сейчас назовут имена победителей конкурса. Называли по какой-то номинации отдельно. И сразу пошли китайцы. Все, кого называли, выходили на сцену и выстраивались в ряд. Когда дошла очередь до эстрадного вокала, произошла небольшая заминка, как будто уронили микрофон, и вдруг громко на весь зал прозвучал Элин голос:

— А ситяс на сыцену приклашаеца аплататильница салатова приса в наминации эстратный вакал Евгения.

Евдокимов не поверил своим ушам, оглянулся на стоявшую за спиной дочь. Она растерянно пожалала плечами. И тогда над всем залом командирским голосом пронеслось:

— Женя, бегом на сцену! Бего-ом!

Проходя мимо, дочь с потрясённым недоумением успела обронить на ходу:

— Мне что, золото дали?!

Когда объявление результатов закончилось, на сцену поднялся председатель жюри и, пожимая всем по очереди руки и скаля зубы, стал вручать награды.

Затем начался заключительный концерт, точку в котором, как и на открытии, опять поставила Женя. Само собой, поднялся вой, буря аплодисментов, которые ещё усилились, когда дочь победоносно проскандировала в микрофон: “Ра-си-я! Ра-си-я!”

Ли фотографировал Женю во время выступления, а после концерта сфотографировал вместе с Евдокимовым. Они были счастливы, они улыбались. Подошла Эля и, отведя Евдокимова в сторону, сказала, что с ними хочет поговорить тот самый продюсер.

— Где же он?

— Он путит вас шпытать низу. Ресепшна.

— А как мы его узнаем?

— Он сам к вам патайтёт.

Евдокимовы спустились в номер, ополоснули холодной водой горячие лица. Во время переодевания взволнованно переговаривались:

— Я чуть живая. Так я не поняла, кто с нами хочет поговорить?

И тогда Евдокимов сказал, что имел удовольствие после прослушивания получить визитку от известного китайского продюсера.

— Почему не сказал?

— Чтобы не расслаблялась.

— Так ты думаешь...

— Пока только надеюсь.

— А давай сегодня напьемся?

— Не возражаю. Только, чур, с пивом не мешать, а то, пожалуй, и на Китайскую стену не попадём.

— Или с неё навернёмся. Говорят, она такая высокая.

— И длинная. Шесть, кажется, тысяч километров длиной. А что ты удивляешься? Около двух тысяч лет строили. Знаешь, почему у нас нет Китайской стены? У них каждая новая династия продолжала строить новый участок. Сто лет одна, сто лет другая. У нас одни строят, другие ломают. Поэтому у нас нет Китайской стены. Ну что, идём? Тебе очень идёт это платье! Боюсь, вместо гастролей тебе предложат руку и сердце.

Но предложили именно гастроли, и притом с хорошими условиями. Правда, высказано было в виде обязательного условия наличие балета и приведение программы к единству.

— Только народный песня и танца, — сказал невысокий живой китаец, лицо которого, как и у стюардесс, отличалось отсутствием загара и морщин. Манера поведения тоже заметно отличалась. Было в ней что-то такое самоуверенное.

Договорились держать связь по электронной почте. И тут же стали прощаться. Евдокимов проводил продюсера до автомобиля, который ожидал напротив входа. На прощание пожали друг другу руки. Мягко хлопнула дверь. Блеснув чёрным лаком, машина неслышно отъехала.

На ужин сходили только затем, чтобы взять немного закуски. И, пообещав Ирине, что у фонтана будут непременно, направились в номер.

У лифта столкнулись с выходящим из широко раздвинувшихся дверей квартетом.

— Вы уже поужинали?

И Евдокимова словно дёрнула за язык.

— Мы решили взять сухим пайком, а точнее говоря, напиться. Не желаете составить компанию?

— Я, во всяком случае, нет, — сразу же отказалась Ксения.

— И я, — поддержала Валя.

— А вы?

— А что, пошли? — глянув на Свету, сказала Таня, и та как бы нехотя согласилась:

— Разве что за вашу победу.

— Если не возражаете, я позову Ли (полчаса назад он сидел в вестибюле), а потом все вместе пойдём к фонтану.

— Тогда и мы что-нибудь на закуску сейчас принесём — не пропадать же добру. А что у вас — сухое, водка?

— Коньяк и...

— Газированная вода, — ловко зажилила ирландский ликёр Женя.

Это было уже второе застолье в номере и по своей бесшабашности удивительно напоминало первое. Если бы случайно не встретились с квартетом, Евдокимову бы и в голову не пришло их пригласить, и позвал бы он только Ли, потому что сразу решил это сделать, но словно кто специально подстроил и эту нечаянную встречу, и в решительный момент дёрнул за язык, хотя Евдокимов и пытался себя уверить, что сделал он это исключительно из желания не пить вдвоём, и потом, должен же был кто-то ещё разделить радость победы.

Таня со Светой, кроме закуски, догадались прихватить третью чайную чашку для Ли. Евдокимов разлил коньяк. Все подняли чашки и, слегка чокнувшись ими, стоя, сказав по очереди “за победу”, выпили. Евдокимов закурил шоколадной конфетой, как и все остальные. Женя с Таней устроились в низких креслах вокруг журнального столика, Света между Евдокимовым и Ли на широкой кровати.

— А вы заметили, насколько дружнее становятся соотечественники на чужбине?

— Ещё бы!

— Да ещё когда ни слова не понимаешь по-китайски.

— От их постоянного крика можно с ума сойти.

— А давайте по второй? Вы что же ничего не едите? Бережёте фигуры?

— Конфетой, видно, отбило последний аппетит. Мы от жары эти дни почти ничего не едим. Только одни арбузы.

— Нас не развезёт с коньяка?

— У нас ещё ликёр имеется. Имеется, имеется, не жмотничай. Потрясающий, должен вам сказать, ликёр.

— Уж не Старый ли Таллин?

— Нет. Ирландский.

— А-а, бело-коричневый такой! Я лично ни разу не пробовала: уж больно дорогой.

— И я не пробовала, — наконец подала голос Света. От неё (или от Евдокимова?) несло жаром, как от печки.

— Тогда давайте попробуем. Надо бы сразу наоборот.

— Почему?

— Градусы не понижают, а повышают. Ну да они, кажется, почти одно-го состава. Так сказать, тот же чёрный кофе, только со сгущённым молоком. Евдокимов извлёк из чемодана бутылку ликёра.

— Ли, ты чего будешь?

— Коньяк.

— И я коньяк.

— А мне ликёра, — сказала Женя. — Я уже пробовала. От такого спиться можно.

— Прямо заинтриговали.

Ликёр всем понравился.

— И закусывать не надо.

— Напиток для вельможных дам.

— Что ж, хотя бы на полчаса побудем вельможными дамами.

— Ли, подтверди, участницы струнного квартета — самые изящные из всех наших дам.

— Да!

— Спасибо.

— За ваше здоровье! И за твоё, Ли! Или как там по-старинному — “многая лета”?

— А давай споём “Многая лета”? — предложила Жёня.

И они на два голоса исполнили.

— У вас хорошо получается! Вы, случайно, не в церкви поёте?

— Пела.

— Серьёзно?

— Уж куда серьёзнее. Но... это уже в прошлом.

— А я так с пятнадцати лет в архиерейском хоре с мамой пела. И муж у меня был священником.

— И что случилось?

— Это не интересно, — перебил Евдокимов и соврал: — В общем, он уехал в Иерусалим и там пропал без вести.

— А с мамой что случилось?

— На машине разбилась.

— Жёня, — посмотрел с укором Евдокимов, — может, хватит об этом?

— Нет, а всё-таки что произошло? — спросила уже Света. — Тем более что вы сказали, что это в прошлом.

— Как вам сказать... Мы плыли на корабле, и началась буря. Да-а! А во время бури — кораблекрушение. У Шекспира, кстати, есть пьеса “Буря”. Мы из неё сценку на новогоднем вечере когда-то ставили, и я главного героя играл. Так в этой пьесе рассказывается о том, как во время бури, когда, скажем, я по верёвочной лестнице (видели в кино верёвочные лестницы на парусниках?), так вот, когда я полез на мачту, чтобы свернуть парус, от сильно напора ветра мачта сломалась, и я вместе с ней улетел в море, остальных — кого смыло, кто сам кинулся в пучину с гибнущего корабля. Но никто не утонул. Так было заранее задумано. Потом скажу — кем. И так, кто на чём, спаслись, попав на не совсем необитаемый остров, скажем, недалеко от Китая. Один матрос даже умудрился спастись на бочке с хересом. На этом острове жил чудом уцелевший от казни китайский император. И жил он на острове не один, а с дочерью уже много лет. За это время, овладев магией, он подчинил духа по имени Ариэль. Может, кто помнит фильм про Ариэля? Нет? Ну, это неважно. Так этот Ариэль и устроил на море бурю, чтобы незаконно захвативший престол родной брат императора, плывущий на нашем корабле, попал на остров и таким образом свершилось бы правосудие. Остальные были ни при чём, но, как говорится, попали под горячую руку. С высших сил не принято спрашивать справедливости, хотя, собственно, никто не пострадал. До появления китайского императора хозяином острова было чудище по имени Калибан, которого я играл. Китайский император его тоже подчинил, превратив в недовольного, ропщущего на судьбу и желающего хозяину смерти раба. Это ведь только христианским рабам запрещено желать смерти угнетателям, потому что нет власти не от Бога, ну, а Калибан был созданием непросвещённым, никто ему про это спасительное смирение не сказал, вот он и роптал. И когда спасшийся на бочке с хересом матрос дал ему глотнуть хереса, Калибан тут же провозгласил его своим богом, архиереем и царём, а себя — лизальщиком его сапог. У нас это сейчас в большом почёте, Ли.

— И что это значит?

— А ты как думаешь?

— Ты раньше жил дворец, но твоего царя свергли, и ты оказался Китай.

— Железная логика.

— Только пессимистического настроения нам не хватало, — заметила Таня.

— Я тоже думаю, что для пессимизма повода нет, — подхватил Ли.

— Вы так считаете? Тогда за победу! В том числе — над фашистами! Евдокимов налил женщинам ликёр, себе и Ли коньяк.

— Ну, как у нас говорят, поехали? А у вас, Ли, как говорят?

— У нас, прежде чем выпить, три раз макать палец пиал с водка, после того как макал, возвращать пиал тому, кто даёт. Только после третий раз делает один глоток, всего один.

— И большая пиала?

— Меньше этой чашки три раз.

— Ну, такую пиалу что одним глотком не выпить? Когда-то на проводах в армию одноклассника я залпом выпил целый стакан. Целый гранёный стакан водки, Ли!

— Зачем?

— Чтобы доказать, что я мужчина. За русско-китайскую дружбу, Ли! За то, чего больше всего боятся американцы!

— Да, у нас когда-то был хороший отношений к вам. Вы дали нам государственность. Китай это помнит. Американцам у нас не верят. Даже эмигранты деньги в американских банках не хранят. Но что касается вас... Отец переписывался с русским, они посылали друг другу подарки. Многие тогда Китай переписывались с русским. Мы тогда с вами дружили...

— А не пора ли к фонтану? — перебила Таня.

\* \* \*

При их появлении поднялся радостный вой, раздались нестройные аплодисменты. От прошедшего дождя осталась только влага на бетонных плитах. Столы были заставлены кружками с пивом, однако делегация была уже далеко не в полном составе. Видимо, ещё до их появления многие ушли, но любители пива были на месте и ощутимо потели.

— Ну, сколько можно ждать?

— Вы к нам неровно дышите, Ирина.

— Я ко всем неровно дышу. Ваше пиво.

— Они и без пива уже хорошие, — заметил кто-то.

— Мы не хорошие, мы лучшие!

— Я и говорю.

Когда пристроились на свободные места, Ли, открыв свою походную сумку, достал из неё оригинальный плеер в виде фонарика и губную гармошку. Плеер поставил на середину стола, нажал кнопку и приложил гармошку к губам. Однако стоило зазвучать музыке, все один за другим подхватили:

*Не слышны в саду даже шорохи,*

*Всё здесь замерло до утра.*

*Если б знали вы, как мне дороги*

*Подмосковные вечера.*

И Евдокимов сразу понял, что был неправ: “Подмосковные вечера” всё-таки породнили нас со всей планетой!”

Ли изобразил замечательный проигрыш на губной гармошке. И ему за это, а также за инициативу устроили овации.

— Вы знаете, что завтра в гостиницу не возвращаемся? — спросила Ирина. — Ну, да вы же не слышали, вы, не знаю только, в прямом или в переносном смысле, всё время где-то пропадаете. В общем, так. После завтрака сдаёте номера и с вещами садитесь в автобус. После Китайской стены нас отвезут на вокзал, а вас — в другую гостиницу. На этих организаторов у меня надежды нет, а там наши партнёры по бизнесу вам обеспечат трансфер, и я буду спокойна.

Вскоре опять остались в прежнем составе. Ли ушёл вместе со всеми, сказав Евдокимову отдельно:

— Возьми на память. Это фотографии моя деревня. Я там родился.

Они крепко пожали друг другу руки.

Затем Жёня принесла остатки коньяка с ликёром. И, время от времени наполняя разовые стаканчики кому коньяком, а кому — ликёром, не спеша вышли всё. Пили ещё и ещё раз за победу, за знаменство, за Россию, за дружбу... Флегматичный Вася, скрестив на груди волосатые руки, обильно потел, Таня о чём-то разговаривала с Жёней, а Евдокимов со Светой обменивались выразительными взглядами. До сих пор они так ни о чём и не разговорились. “Разве недостаточно смотреть друг другу в глаза и нужны ещё какие-то слова?” — как бы говорил её взгляд. И это действительно было неплохо, но это было далеко не всё, потому что было всего лишь началом. Так Евдокимову, во всяком случае, казалось. А ещё казалось, что он смотрел в Светины глаза, как пел когда-то, “как в зеркало”. И его неудержимо влекло к ней.

Дочь, наконец, поднялась.

— Ну что, пойдём?

Но Евдокимов на этот раз, как можно естественнее изображая благообразие, сказал:

— Ты иди. А я, пока ты душ принимаешь, ещё немножко посижу.

— Я боюсь одна.

— Чего?

— Идти.

— Да тут два шага всего.

Но Жёня опять настойчиво повторила:

— А я боюсь.

И тогда, скрипя зубами, Евдокимов поднялся.

— Ну, пошли. Ну, где твоя дрожащая рука?

И как только поднялся, понял, как его развезло. Шёл, как во сне. И скорее не он, а дочь вела его за руку. Поднялись по ступеням, прошли через крутящиеся стеклянные двери, через погружённый в полумрак совершенно пустой вестибюль. В коридоре Евдокимов вдобавок ко всему на ровном месте споткнулся. Надо же так напиться! Войдя в номер, прямо в одежде он ничком плюхнулся на кровать. И пока дочь принимала душ, от веяния кондиционированной прохлады всё куда-то плыл, пока над ним не прогремело. Он в испуге приподнял от подушки голову.

— Что?

— Мыться, спрашиваю, пойдёшь?

— А почему ты повышаешь голос?

— Я ложусь спать!

“Это чего она на меня взъелась?”

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи! — опять огрызнулась Жёня.

“Этого ещё не хватало!” — подумал Евдокимов.

Вставать не хотелось, но он всё-таки пересилил себя и, насилию поднявшись, ушёл в душ. Начал с горячего и постепенно дошёл до самого холодного.

Он докрасна растёрся махровым полотенцем, а затем решил посмотреть, на кого он всё-таки стал похож, но от горячей воды зеркало успело запотеть, и тогда Евдокимов тщательно его вытер. Когда, наконец, себя узрел, стало отчего-то стыдно. Оттого, может быть, что дочь, заметив его симпатию, всё это решительно пресекала. А если бы не дочь? Неужели бы он решился переступить?.. Но Света... Что-то такое пришло ему в голову, когда они смотрели друг другу в глаза, о чём-то он подумал. Кажется, о зеркале. Да-да, он вспомнил слова из песни: “гляжу в тебя, как в зеркало...” И как-то это было связано с её именем... Света, свет...

Но Евдокимов так и не смог разгадать этот ребус. Очевидно, для этого необходимо было состояние более трезвое.

\* \* \*

Свету Евдокимов не видел с самого утра. Вероятно, они сели в автобус раньше где-то сзади и почему-то не вышли вместе со всеми. Собственно, и не смотрел. Незачем, да и слишком поздно. И только назойливо вертелось



в голове, пока снимали друг друга с дочерью на Великой Китайской стене, это странное сочетание пришедших вчера на ум слов: Света и свет. Какая-то заключалась в этом мысль, которую Евдокимов всё никак не мог уловить.

Делегацию напоследок решили покормить в ресторане. На этот раз была подана запечённая рыба под чёрным соусом, и на каждую крутящуюся столешницу поставили, как сообщили, бесплатно, по стограммовому пузырьку китайской водки. Она была 52 градуса. Все отказались, а Евдокимов с флегматичным Васей решили отведать. Рюмки оказались из белого фарфора, размером с наперсток. Покрутив по очереди стол, наполнили их вклень, вознесли.

— Хун хо! — сказал Евдокимов по-китайски.

— Хо! — вяло отозвался Вася.

Выпили. Вернее, что-то растеклось и тут же впиталось в полость языка. Они и дальше решили общаться по-китайски.

— И-и-и тё? — спросил Евдокимов.

— Тё! — согласился Вася.

И, покрутив стол, налили и выпили ещё, а затем ещё, и ещё, пока не уделали весь пузырёк.

— Какие ощущения? — спросил Евдокимов по-русски.

— Ничего.

С обеих сторон Васи сидели Таня со Светой. И Света смотрела хоть и устало, но всё так же внимательно. Как ни крути, а Евдокимова по-прежнему волновал её взгляд, но он изо всех сил старался изображать независимость.

“Света, свет”, — время от времени всплывало в его разгорячённом китайской водкой сознании, но и на этот раз он так и не сумел за шевелившуюся где-то рядом мысль ухватиться.

Ввиду интенсивного движения транспорта к вокзалу подъехали затемно. Дальневосточной делегации до отправления поезда осталось полтора часа. Евдокимов долго крепился, а потом всё-таки не выдержал и вышел проводить. Дочь осталась в автобусе.

Ирина первая протянула ему руку. Евдокимов сказал:

— Вы уж извините меня за дерзость.

— Да все нарма-альна! — отмахнулась она, но явно была довольна.

Затем протянула руку Таня, за нею — Ксения, потом — Валя и, наконец, — Света. И все уже взялись за чемоданы, когда Евдокимов попросил Свету на минутку задержаться.

Когда остались наедине, сердце у Евдокимова заколотилось, как у мальчишки, а с языка как бы само собой сорвалось:

— Хочу, чтобы вы знали. Вы для меня... я даже не знаю... словно свет с Востока.

— Ну, во-первых, с Дальнего Востока, а во-вторых, никакой не свет, а просто Света.

— Знаете, о чём я больше всего жалею?

— И о чём же?

Она всё пыталась и никак не могла превратить прощание в простую забаву.

— Что вы замужем.

— Это кто же вам об этом сказал?

— Ну как... ребёнок...

— А разве незамужним запрещается иметь детей?

— Так вы...

— Све-ета-а! — напомнили о себе стоявшие в десяти шагах подруги.

Евдокимов поспешно достал визитку.

— Напиши... или позвони... или пришли СМСку...

Он даже не заметил, что перешёл на “ты”, как-то само собой это произошло.

— А надо?

— Это не мне решать.

Света вздохнула, покачала головой, взяла визитку и, внимательно посмотрев Евдокимову в глаза, сказала:

— Ну, хорошо, я подумаю.

Евдокимов вернулся в автобус, как во сне. И промолчал всю дорогу. Дочь во время пути внимательно к нему присматривалась.

\* \* \*

Прошедшая бессонная ночь дала о себе знать сразу после завтрака. Однако сказать, что Евдокимов спал, нельзя. И вообще с ним творилось что-то странное. Он вроде бы и спал, и не спал одновременно. Мысль его ни на секунду не переставала работать как бы уже сама по себе и, как это бывает только во сне, то текла в пределах логики, а то становилась бессвязной, перескакивая с одного на другое, чем дальше, тем больше напоминая ту самую соломинку, за которую он всё пытался и никак не мог ухватиться. Выхода из личной, а тем более общественной катастрофы он по-прежнему не видел. Да и какой может быть выход, когда в его родном Отечестве вот уже на протяжении тысячелетия не в состоянии были устроить нормальную жизнь ни при помощи религии, ни отказавшись от неё, ни теперь? И сердце его обливалось кровью от мысли, что и на этот раз ничего хорошего не достанется ни его дочери, ни его внучке.

Мысль о внучке коснулась одного из самых больных мест в его сердце. Так иногда её доверчивые глаза задерживали на нём внимание, ожидая ответа на очередной неразрешимый вопрос. Таким же образом смотрела когда-то Женя. Давно это было, как будто в другой жизни. Так вышло, что ему пришлось испытать отцовское чувство и ответную детскую любовь дважды.

Бывало, когда они гуляли в городском парке, как и Женя когда-то, Маша просила взять её на руки. И это не от усталости — пугал огромный парк, в котором никого, кроме них, в эти последние дни золотой осени не было. Давно уже застыли над вершинами голых лип кабины “колеса обозрения”, слегка покачивались, поскрипывая на влажном ветру, цветные карусели с прилипшими к сиденьям золотыми листьями. Застопоренные лодки качелей навесили грусть.

“Кази”, — просила Маша. И Евдокимов начинал: “У Лукоморья дуб зелёный...” Самое сильное впечатление производили слова: “Там царь Кащей над златом чахнет; // Там русский дух... там Русью пахнет!” На минуту водворялось молчание, после чего следовал глубокий вздох и очередное “кази”.

Когда укладывались спать, обе просили сказку про “цая” (царя). От частого повторения Евдокимов выучил её наизусть. Это было настоящим представлением. Сначала дочь, а затем внучка принимали в нём участие. Евдокимов выключал свет, а чтобы не было так страшно, оставлял открытой дверь.

Однажды он нечаянно подслушал Машин разговор с подружкой: “Мой дедушка всё знает! Мой дедушка самый умный! Дедушка меня никогда не обманывает”, — с непоколебимой уверенностью говорила Маша.

А он чем дальше, тем больше убеждался, что не знает ничего или так мало, что любому здравомыслящему человеку показалось бы по меньшей мере странным отправиться в дальний путь с таким скудным багажом. Так получилось, обо всём этом он узнал слишком поздно, и что теперь с этим делать, не ведал. И в то же время видел, что работа в этом направлении шла. Сотни тысяч молодых и не молодых людей искали выход из создавшегося тупика, в котором на пороге XXI века оказалось человечество. Не только в России, во всём мире шла напряжённая работа над выработкой новой повестки дня. Выпестованные последними двумя тысячелетиями понятия давно себя дискредитировали и никого не удовлетворяли. И одни искали выход в язычестве, сакральные знания которого были утрачены. Другие считали человека продуктом генной инженерии некогда заглянувших на Землю инопланетян и ждали решения всех проблем от них. Третьи усматривали проблему в причинах гибели Атлантиды. Относительно истории вообще творилась полнейшая неразбериха, и тем не менее, каждая из версий претендовала на истину в последней инстанции.

Обо всём этом во время полёта в Евдокимове шли не прекращающиеся ни на секунду разговоры. И только одна во всей этой кажущейся сумятице казалась совершенно определённой мысль: надо устраивать свою жизнь.

А между тем некто продолжал задавать вопросы, а порою на них отвечать.

Вы никогда не задумывались о язычестве с точки зрения Творца? Не думали, например, о том, что, если в языческих верованиях не было ничего опасного для жизни, с какой стати Творцу гнаться на своё непросвещённое создание, если даже земные родители терпеливо переносят незрелый возраст своих детей? Если человеку невозможно познать Бога и для этого понадобилось Откровение, на каком основании наказывать его за то, что до получения Откровения он шёл к познанию через обожествление природы, космоса и даже высокопоставленных тварей? Другое дело — кровавые жертвы, но их приносили и Единому Богу. А нынешнее распределение обязанностей между святыми (этот — покровитель скота, этот — путешественников, этот — воинов) разве не те же самые элементы язычества? И почему это Бог перестал собственноручно “прибирать” уклоняющихся от единственно правильного пути, как это было в истории Ветхого Завета, и на место необузданного властолюбия, презрения и ненависти к человеку и даже целым народам вдруг водворил действительно покоряющие сердца кротость и смирение, отвергая всякое насилие над личностью?.. Если Сын Человеческий по воскресении не явился гонителям из уважения к их свободе, почему такое неуважение оказал апостолу Павлу по дороге в Дамаск, ослепив и подавив волю?.. А “кротчайший из всех людей на земле” за что лишился земли обетованной? Неужели только за то, что убедил евреев в том, что Адонаи и Элохим — одно? Но разве это не две совершенно разных религии: лунная, образом которой был тот самый телец, перед которым скакали отверженные, и солнечная, образом которой было небесное светило с любовно протянутыми к должному миру лучами реформатора? Когда светит луна, на улице темно, звёздное небо над головой, и так иногда страшно, особенно в пути. Ну, а когда светит солнце, о каком страхе может идти речь? Обе религии на протяжении тысячелетий соперничают в истории человечества: религия дня и религия ночи. Если поискать аналогии в истории, можно указать на разделение на два календаря: лунный и солнечный. Две ветви непрестанно ведут борьбу. Всё-то у нас разделено на две части: наука, экономика, политика, литература, искусство и душа каждого человека. Видимо, по той же причине во все Писания вошло ровно столько, сколько необходимо для отрицания и утверждения... Гений никто не душил в зародыше, а просто используют в тех или иных целях. Всё это устроено для усвоения того самого знания, куском которого по причине младенчества подавились Адам и Ева. Плод, о котором идёт речь, до сих пор стоит поперёк горла. Никакого изгнания из Рая не было, да и Рая на земле не было никогда, а было восприятие мира как благодати бытия, пока не была предпринята попытка к его качественному улучшению. С той поры это стало главной целью для всего человечества. Но разошлись пути, о чём свидетельствует разделение послепотопного человечества. У дотопопного было одно направление. Только не подумайте, что его истребил Бог. С какой стати? Нет, были такие же, как и теперь, дотошные учёные, и было предложено испытание одного из самых современных открытий, которое воспринималось очередным прорывом в науке, и одни были “за”, другие “против”, ибо в случае неудачи эксперимента это грозило гибелью всей цивилизации. И было проведено нечто вроде референдума, и победили дотошные, и произошла катастрофа. Однако не сразу, поскольку было оговорено время для принятия мер для спасения. И вот это время настало. Земля повернулась по своей оси и воды океанов смыли всё и вся, а там, где было лето, мгновенно наступила зима. И чтобы этого больше не повторилось, человечество разделилось... А что же Он? Его вмешательство в наши дела надо понимать по тому, когда нам что-то не удаётся. Иногда мы узнаём об этом слишком поздно, поскольку какое-то время действуем на голом энтузиазме или по инерции. Все народы “заключены в непослушание” — это верно, но заключены не Им, а “нами”, и об этом знаем только “мы”. Его же пути “нам” неведомы... Вы не задумывались, например, о том, а что, если есть всего лишь неправильное использование

божественной энергии, как и всего, что создаёт человек? Аналог — атомная энергия, используемая в тех и других целях. Воскрешает и убивает одна и та же энергия, неправильно используемая по причине неправильного подхода. Как, например, в торсионных полях, где правое кручение живит, а левое — умерщвляет: “нельзя человеку увидеть Меня и не умереть”... Мы с вами жертвы вмешательства одних и тех же сил сначала в язычество, потом в христианство, затем в коллективизм. Когда становится очевидным, что проект утратил актуальность, его меняют на нечто противоположное, чаще всего, кровавыми методами, когда в первую очередь вырезаются имеющие знание, и для этой цели мобилируется ничего не знающая, а потому не рассуждающая молодёжь, потом переписывается история и насаждается очередная ложь. Но душа не терпит лжи, на дух не переносит фальши, и всё возвращается на круги своя: гибель цивилизации, “вода иже бе над твердью...” Сто лет назад мы дали хотя и фальшивую, но всё-таки новую повестку дня, в которой были слова о справедливости, и это было подхвачено. Теперь пришло время новых идей, против которых никакая армия не устоит, потому что в жизнь мира входит новое поколение...

\* \* \*

Всё это прекратила дочь:

— Па-а, просьшайся, прилетели!

Когда оказались в очереди на выход из самолёта, в голове у Евдокимова радостно пронеслось: “Ну, вот мы и дома!” И хотя после Пекина Москва представлялась захолустьем, всё-таки это был уже свой родной “странно-приимный дом”.

От Пскова до Толбы добрался на такси, договорившись с водителем по телефонному звонку прибыть за ним, когда вернётся назад.

У пристани стояли два туристических автобуса. Паломники выстроились в длинную очередь на широких деревянных мостках, метров на двадцать выдвигавшихся в озеро, с одной стороны поджигаемых высокой стеной камыша. К мосткам был пришвартован старенький катер, на который по одному поднимались по трапу пассажиры.

С другой стороны мостков на расчищенной от камышей заводи покачивались с пяток рыбацких моторных лодок, в одной из которых сидел красножий мужик в фуфайке, с хищно очерченными ноздрями.

— На остров? — обратился он к Евдокимову, заметив его замешательство при взгляде на длинную очередь.

— Сколько?

— Семьсот.

— Шестьсот.

— Поехали.

Евдокимов осторожно спустился в качающуюся на волнах железную плоскодонку. Мужик тут же вручил ему спасательный жилет, сказав, что без него перевозить пассажиров запрещено.

— Почему?

— Лодка недавно перевернулась, и все утонули.

— Как же это могло случиться?

— Подкинуло на большой волне.

— И сколько до острова плыть?

— При хорошей погоде минут двадцать, но сегодня большая волна, так что минут сорок, не меньше, проплываем.

“Нечего сказать, обрадовал, большая волна”, — подумал Евдокимов, но идти на понятную было поздно. Устроившись за рулём, мужик запустил двигатель и, лихо развернувшись, устремил плоскодонку по неширокому фарватеру, с обеих сторон поджигаемому плотными зарослями камышей, по верху которых гулял ветер. Поверхность воды была гладкой. Но вот камыши стали расступаться всё больше и больше, и вскоре лодка выскочила на простор безбрежного озера. Нужный Евдокимову остров был первым в гряде

таких же небольших островов, и, по мере того как подбрасывало и жёстко ударяло днищем о воду посудину, так что приходилось крепко держаться за лавку, он то вырастал, то скрывался под водой.

С первой же минуты Евдокимов почувствовал тревогу, пожалуй, не меньшую, чем в самолёте, и стал молиться. Лодка, не сбавляя скорости, продолжала взлетать и со всего маху биться днищем. Брызги, вздымаясь, хлестали в лицо. Напористый ветер пронизывал насквозь, несмотря на застёгнутые пуговицы ветровки. Очевидно, желая ободрить, мужик время от времени оглядывался, задирая кверху хищную ноздрю и посасывая торчащую во рту сигарету. “Да он пьяный!” — подумал в ужасе Евдокимов, но попросить везти поаккуратнее не решился: неизвестно, как отнеслась бы к этому загадочная русская душа?

Остров, наконец, перестал нырять под воду, всё больше и больше вырастая над поверхностью, а под конец совершенно закрыл собою озеро. Причалили к мосткам для полоскания белья. Евдокимов спросил ноздрястого, возможно ли с его помощью выбраться назад, на что получил резонный ответ: “На свете нет ничего невозможного, только дешевле, чем за тыщу, вы отсюда не уедете”.

Обычная деревенская улица привела прямо к храму. Недалеко от храма на довольно просторном пустыре уже успели воздвигнуть памятник. Во дворе храма шли строительные работы. Служба уже закончилась. И Евдокимов отправился к батюшкиному дому. Справа и слева от открытой калитки находились три огромных “дикаря”, которые в старину служили для устройства фундамента церквей. От калитки вдоль стены с двумя небольшими оконцами вела к маленькому крылечку под навесом выложенная каменными плитами, тщательно выметенная тропинка. Справа от неё — небольшой садик с вишнями и яблонькой, в правом углу сада стояла банька. Дверь в сени была настежь. Чтобы войти в дом, надо было подняться по трём ступеням и повернуть налево. В саду копошились два бородатых мужичка пятидесяти и тридцати лет. Евдокимов спросил их:

— Можно войти?

— Только разувшись.

И Евдокимов, разувшись и наклонившись, чтобы не удариться о низкий косяк двери, вошёл. Справа от входа он увидел небольшую каменную печь, напротив, у окна, фисгармонь, за нею — небольшого размера кухонный стол с начищенным самоваром посередине, макушку которого увенчивал белый фарфоровый заварной чайник. Этот стол с самоваром Евдокимов уже видел в документальных фильмах. Далее шла келья, внутренность которой ни разу не показывали, а лишь серенькую двустворчатую дверь, из которой выходил к посетителям старец. Правая створка оказалась открытой. Евдокимов через неё вошёл.

У правой стены стояла аккуратно заправленная односпальная железная кровать, прикрываемая от входа голландкой, а с другой стороны — книжным шкафом со стеклянными дверками. На стене, вдоль которой стояла кровать, висел настенный коврик с прикрепленными фотографиями, иконой святителя Николая и другими бумажными иконами. У левой стены, сплошь увешанной иконами и фотографиями, под расшитой бархатной накидкой стоял узкий комод. На комод — два старинных мощевика, церковная утварь. За комодом, в углу, — аналой с серебряным крестом и напрестольным Евангелием с широкой атласной закладкой. За аналоем центром иконостаса являлась икона в богатой золочёной резной оправе, перед иконой светилась лампадка. На полке под иконой стояла фигурка преподобного Серафима Саровского, изображавшая знаменитое *моление на камне*. Справа от аналая, под окном и в правом углу — накрытые скатертями столы, на одном из которых находилась ваза с букетом гвоздик, а вся лицевая стена, а также часть правой, до самой кровати, словно бронёй, была плотно увешана старинными и современными иконами. И было такое впечатление, что именно тут, в этой келье, а не в храме, всё самое сокровенное происходило.

Достав из кармана тысячу, Евдокимов положил её в стоявшую на полу коробку, на которой было написано “на содержание дома”, и, когда повернулся

к выходу, нос к носу столкнулся с молодой женщиной такой удивительной красоты, что даже ошелел. Женщина была в чёрной косынке, которая только подчёркивала её удивительную красоту.

Евдокимов посторонился. И тогда, немного помедлив, как бы решая, уместно ли подобного рода рыцарство, женщина слегка нахмурилась и, дрогнув бархатными ресницами, поднялась по ступенькам, ни разу на Евдокимова не глянув. Оказалась она среднего роста, в перетянутом в узкой талии чёрном плаще. Присущим только женщинам способом, немного наклонившись и по очереди поджав под себя ноги, она сняла руками чёрные туфли и, аккуратно поставив в сторонке, узкой изящной ножкой, обтянутой чёрным капроном, подобно балерине неслышно переступила через порог открытой двери.

При встрече с подобного рода красотой в былые времена Евдокимов, в первую очередь, жалел, почему она принадлежит не ему, и прилагал все усилия, чтобы добиться взаимности. И, когда это удавалось, очень этим гордился. После женитьбы подобного рода отношение к женской красоте значительно притупилось, и тем не менее, красота никогда не оставляла его равнодушным. Теперь же случилось нечто иное. Прошедшая мимо женщина своей необыкновенной красотой неожиданно пролила свет в его израненную душу.

Когда вышел из дома и повернул к калитке, увидел через каменную арку кладбищенских ворот, что на могиле старца началась панихида. На фресках арки были изображены лики царственных стасотерпцев. Могила находилась напротив арки, без ограды, с двумя крестами — небольшим и огромным, с резным распятием и деревянной табличкой. По утопанной вокруг могилы земле можно было заключить, что её посещало немало паломников. И теперь собралось человек тридцать, а пока служили панихиду, подошли ещё — очевидно, прибывшие на том стареньком катере. Панихиду служил местный священник, судя по мантии, иеромонах. Певчим подпевали все, кто умел. Во главе могилы стоял врытый в землю, изготовленный из витого железного прутка аналой.

Иеромонаху прислуживали два мальчика лет семи. Голуби стаяй порхали и ходили вокруг и между ног молящихся. Один неожиданно опустился на поднятую для крестного знамения руку Евдокимова, посидел, помахивая крыльями, и, вспорхнув, с лёгким свистом опустился на землю.

По окончании панихиды выстроилась очередь для помзания елеем из лампадки, горевшей перед фотографией старца. Евдокимов обратил внимание на молодую чету (она — в длинной ситцевой юбке, в платочке, и он — с курчавой бородкой, в сандалиях на босу ногу, держит на руках ребёнка, у обоих в глазах совершенная отрешённость) и подумал, что, видимо, всё земное связано с вечностью посредством таких островов. И, сколько бы ни “взросло” человечество, страшивая с себя “темноту”, в нём никогда не переедутся подобные этой молодой чете люди, потому что на свете ещё есть такие острова.

Мало того, в его беспокойную голову взбрела довольно странная мысль. Если всё-таки не “они”, а, как утверждает апостол Павел, “Бог всех заключил в непослушание” для того, чтобы “всех помиловать”, это что же получается? Это же получается, что все до последнего человека на земле, в том числе и в государственном масштабе, независимо от убеждений, “заключены” в своё упорное “непослушание” и намерены стоять в нём до конца. Даже если бы кто и захотел свернуть с пути, тысячелетние традиции не позволят этого сделать, ибо это такая сила, которая даже “избранный народ” понудила на богоубийство, поскольку “заключённые в непослушание” думают, что они-то как раз и есть самые послушные, обладающие истиной в последней инстанции, и во утверждение её пролили и впрямь готовы проливать реки крови.

И всё это попущено для того, чтобы в итоге всех помиловать? Постой-постой, остановил себя Евдокимов, это что же получается? Это же получается, режь, жги, убивай, воруй, грабь, обманывай, растлевай, насилуй, распутничай, и тебе за это ничего? Ну, если ты во всю эту мерзость “заключён”, какой с тебя может быть спрос? “Извините, — скажет на Страшном Суде мучитель матери растерзанного на её глазах борзыми собаками ребёнка,

или богач обобранным до нитки миллионам нищих, или убийца своим жертвам, или ростовщик, — мы не виноваты в том, что нас Бог во всё это “заклучил”. Кабы не “заклучил”, мы бы этого и не делали, а коли “заклучил”, куда было деваться, как говорится, против Бога не попрёшь...” В другом месте тот же апостол на подобное заявление с возмущением возражает: а ты, мол (тварь дрожащая), кто такой, чтобы указывать Господу Богу, и приводит в пример горшечника, который по своему усмотрению лепит горшки, не спрашивая у них согласия, для какой цели их собирается употребить. Иначе: что хочу с вами, то и делаю. И в этом, по апостолу, Божия премудрость? Ну нет, быть этого не может! А как же свобода? Или он чего-то не понимает?

По всему острову шёл листопад. С едва слышным кликом вытянулись над свинцовой поверхностью озера живые нити гусяного косяка. Солнца по-прежнему не было видно, и всё небо от края до края было затянуто грядями кучевых облаков, и всё-таки то место, где находилось солнце, Евдокимов угадал сразу. Угадал потому, что это было солнце. И он сказал тихо, так тихо, что могло услышать лишь Солнце:

— Боже, изведи из темницы душу мою.

\* \* \*

Когда оказались в поезде, Евдокимову пришла первая СМСка:

“Мы уже дома. А вы?”

Евдокимов ответил, что они ещё в дороге и будут на месте только через три с половиной часа.

“Счастливого пути”.

“Спасибо”.

“Сообщи, когда будете дома”.

“Ок!”

Женя поинтересовалась:

— С кем это ты переписываешься?

— С китайским продюсером.

— Чего пишет?

— Рад нашему знакомству.

— А ты что?

— Собираюсь ответить: мы тоже. Или нет?

— Па-а, ну, конечно!

— Так и напишу.